



ФЪЯММЕТТА



*Перевод М. Кузмина*

*Пояснения Боккаччо к «Фьямметте»  
перевела О. Мартыненко*

*Начинается книга,  
называемая элегией мадонны Фьямметты,  
обращенная к влюбленным женщинам*

ПРОЛОГ

Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, — мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливой смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благодетельными к несчастным: вы здесь не найдете греческих басен, украшенных выдумкой, ни битв троянских, запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то, уверена, нежные лица ваши залете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, послужат они утешеньем в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь

от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой, нежели прочной, начиная со счастливых дней, дабы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем доведу свое слезное повествование, как могу, до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я, удрученная, заливаясь слезами, молю: если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моей скорбью, молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу пайти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой госпожа описывает, кто она, какие предзнаменования указывали ей грядущие несчастья, когда, где, как и в кого она влюбилась и последовавшее за тем счастье

Я родилась от благородных родителей, восприятая благостной и щедрой судьбою, в то время года, когда возрожденная земля кажется особенно прекрасной. О, проклятый и противнейший из всех дней день моего рождения! Сколь счастливей было бы мне не родиться или быть погребенной тотчас после печального рождения! Если б имела я не более долгий век, нежели зубы, посеянную Кадмом \*, если б Лахесис \*, свою нить начавши, оборвала тотчас! В младенческом возрасте прекратились бы бесконечные скорби, что ныне печально пудят меня к писанию. Но к чему эти жалобы! Тем не менее я живу — такова воля господня, чтобы я существовала. Итак, рожденная, как я уже сказала, среди благ жизни и вскормленная в них, отданная с детства до нежного отрочества под надзор почтенной наставницы, я приобрела привычки и манеры, свойственные знатным девицам. И как мой рост с годами увеличивался, так усиливалась и моя красота, источник моих необычайных бедствий. Увы, когда еще маленькую меня хвалили многие за красоту, я гордилась этим и старалась с усердием и искусством сделать еще большею свою прелесть.



Сделавшись более взрослой и угадав, наученная природой, какие желания возбуждают прекрасные дамы в юношах, я узнала, что моя красота (несчастный дар для тех, кто желает жить добродетельно) рождала любовный пламень в моих сверстниках и в других благородных людях. И они различными способами (мало мне тогда известными) пытались неоднократно возжечь во мне тот же огонь, которым сами горели и от которого я впоследствии больше, чем кто бы то ни было, не только согрелась, но и сгорела; многие усердно ко мне сватались, но так как я вышла замуж за одного из них, вполне подходящего ко мне во всех отношениях, то вся толпа влюбленных, как бы лишенная надежды, перестала меня добиваться. А я, совершенно довольная таким супругом, жила в полном счастье до той поры, пока неистовая страсть с небывалою силой не овладела молодою душой. Увы, не было ничего, способного успокоить мое или какой-либо другой женщины желание, что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!

В то время как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная, куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если бы я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, — и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.

Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью деревьев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и, сделав из отобранных милый венок, надела его на голову. И так

украсясь, поднялась — что Прозерпина \*, когда Плутон ее от матери похитил, так с песней шла я раннею весною; потом устала, что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же, как Эвридику \* в нежную погу сокрытая ужалила змея, меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; невзвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к прежней ране и долго кровь мою пила, пока — так снилось мне, — вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханьем вместе, вился, вился по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая, так и она исчезла из глаз моих. Тогда я увидела небо, все закрытое мраком, будто, казалось, солнце затмило и настала ночь, как случилось это у греков после преступления Атрея \*, и беспорядочные блистания пробегали по небу, и трескучие громы ужасали меня и землю. А рана, доселе одним укусом отмеченная, наполнилась змеиным ядом и, казалось, все тело мое обратила в гнойный нарыв; и я прежде, казалось, не знаю как остававшаяся без дыхания, почувствовав, что яд подступает к сердцу, в тоске предсмертной по свежей траве начала кататься. И смертный час, казалось, уже наступал; страх ужасной грозы и предсмертная боль в сердце так усилились, что потрясли спящее тело и разрушили крепкий сон. Проснувшись, я тотчас (еще в страхе от виденного) схватилась правою рукою за укушенный бок, ница там того, что лишь в будущем ему предназначалось, но, найдя его невредимым, развеселилась, успокоилась и начала смеяться над слепыми снами, не придав значения небесному знамению. Ах, я несчастная! Как справедливо, что, презревши предзнаменования вначале, потом я им поверила с тяжелой болью и бесполезно плакалась, жалуясь на небеса, что открывают нам так темно, что почти не открывают тайны, которые можно назвать уже свершившимися. Итак, проснувшись, я подняла сонную голову и, увидев, что в комнату сквозь

щель вливалось утреннее солнце, отбросив думы, быстро вскочила.

Тот день был одним из самых торжественных дней, почему я и оделась тщательно в златотканые одежды и, искусно украсившись, как богини, сошедшие к Парису\* в долину Иды, приготовилась идти на величайший праздник. И меж тем как я, что павлин, собою любовалась, думая понравиться другим не меньше, чем самой себе, цветок из моего венка, зацепившись за постельный полог или, быть может, невидимой небесною рукою с головы у меня сорванный, упал на землю, — но я, не заботясь о тайных божеских знаках, как ни в чем не бывало подняла его, воткнула в волосы и направилась в путь. Увы, какой более ясный знак будущего могли мне дать боги? Конечно, никакого. Этого достаточно было, чтоб показать мне, что с сегодняшнего дня моя свободная и независимая душа, отложив свою власть, должна стать рабою, что и случилось. О, если бы я не была безумной, конечно, я узнала бы, что этот день несчастен, и провела бы его, не выходя из дому. Но боги, хотя и указывают путь спасенья тем, на кого разгневаны, лишают их должной способности понимать эти знаки, в одно и то же время исполняя свой долг и утоляя гнев свой. Итак, судьба толкнула меня из дому, беззаботную и суетную; в сопровождении многих женщин я не спеша достигла святого храма, где уже шла служба, соответствующая празднику.

Вследствие моего благородного происхождения, по старинному обычаю, мне было оставлено достаточно почетное место между другими женщинами; заняв его, я по привычке обвела глазами храм, наполненный мужчинами и женщинами, расположенными разнообразными группами. Не успели во время священной службы заметить, что я вошла в храм, как случилось то, что случалось во все прошлые разы, а именно: не только взоры мужчин обратились ко мне, но даже женщины смотрели на меня, будто никогда ими не виданная Венера или Минерва сошла на то место, где я стояла. Как смеялась я про себя над всем этим, довольная сама собою, гордясь не менее богини! И почти все юноши, перестав смотреть на других женщин, окружили меня, как венком, и, рассуждая о моей красоте, единогласно прославляли ее. Но я, смотря в другую сторону, делала вид, что занята другой заботой, и прислушивалась к желанной сладости их слов, которая как бы обязывала меня взглянуть на них более благосклонно; и

я глядела не раз, не два, так что некоторые, пленившись тщетной надеждой, суетно хвастались моими взглядами перед товарищами.

Меж тем как я таким образом изредка взглядывала на пекоторых и упорно созерцалась многими, думая пленить другого своею красотой, случилось, что сама постыдно в плен попала. Уже приближаясь к тому моменту, который был причиной или вернейшей смерти, или прискорбнейшей жизни, не знаю, каким подвигнутая духом, подняла я с должной важностью глаза и острым взором различила в толпе окружавших меня юношей одного, стоявшего прямо против меня, прислонившись к колонне, отдельно от других, и я стала наблюдать его и его манеры (чего прежде никогда не делала). Скажу, что, по моим наблюдениям (еще свободным от любви), он был прекрасен по паружности, приятен по манерам, приличен по одежде; кудрявый пушок, ясный признак молодости, едва опушал его щеки, а на меня он взирал чувствительно и робко. Конечно, я нашла бы силы воздержаться от взоров, но мысль о всем замеченном, что я выше перечислила, не что другое, как меня самое, влекла к тому. Воображая себе с каким-то молчаливым наслаждением его черты, уже запечатленные в моей душе, я находила новое подтверждение справедливости моих наблюдений; довольная тем, что он на меня смотрит, я изредка поглядывала украдкой, продолжает ли он делать это.

Когда, не боясь любовных силков, один раз я замедлила свой взор на нем, его глаза, казалось, говорили: «Госпожа, ты одна — наше блаженство». Я солгала бы, сказав, что это было мне неприятно, мне это было так приятно, что из груди я испустила было нежный вздох, сказать готовый: «А вы — мое». Но, спохватившись, я его подавила в себе. Но что из этого? Что не было выражено, сердце понимало, в себе оставляя то, что, выйдя наружу, может быть, сделало бы его свободным. С этой минуты, дав ббльшую волю неразумным глазам, я услаждала их тем, к чему они уже возымели желание; конечно, если бы боги, ведущие все дела к известному концу, не отняли у меня разума, я бы еще смогла сохранить свободу; но, отложив все соображения, я отдалась влечению и тотчас стала готовою попасться в плен. Подобно тому как огонь сам перелетает с места на место, так из его глаз тончайшими лучами свет проник в мои глаза и, не довольствуясь остаться в них, сокрытыми путями проникнул в сердце.

А сердце, в страхе от внезапно нашедшего огня, призвало к себе все мои силы, так что я осталась бледною и почти похолодевшею; но недолго длилось такое состояние, скоро наступило противоположное, и сердце не только почувствовало себя согретым, но и все силы, вернувшись на свои места, принесли с собою такой жар, что вогнали меня в сильную краску и распалили, как пламя, и я вздыхала, видя, отчего все это происходит. С той поры ни о чем и больше не думала, как только чтобы ему поправиться.

Меж тем юноша, не сходя с места, осторожно взглядывал и, быть может, зная, как опытный не в одном любовном бою, чем достичь желанной добычи, всякий раз с крайним смирением делал вид благоговейный и полный влюбленного желания. Увы! Какой обман скрывался под этим благоговением, которое, как сейчас последствия покажут, уйдя из сердца (куда никогда более не возвращалось), лживо на его лице начертано было. Но, не имея намерения рассказывать о всех его поступках, исполненных всецело обмана как в замысле, так и в осуществлении, скажу только о том, что всем могу сказать, — о внезапно охватившей меня неожиданной любви, которая и до сих пор меня держит.

О сострадательные дамы, это был тот, кого мое сердце в безумном влечении меж стольких знатных, прекрасных, смелых юношей всей моей Партенопеи выбрало первым, последним, единственным властителем моей жизни; это был тот, кого любила и люблю я больше всех; это был тот, кому суждено было стать первой причиной моих бедствий и, думаю, жалкой моей смерти. В тот день впервые из свободной я сделалась презренною рабой, в тот день впервые я узнала любовь, неведомую мне дотоле, в тот день впервые любовный яд мне сердце чистое и целомудренное отравил. Увы мне, жалкой! Сколько бед принес мне этот день! Увы, скольких мук и тоски не знала бы я, когда бы обратился в ночь тот день! Увы, сколь был враждебен моей чести этот день! Что говорить? Прошлые проступки гораздо легче порицать, чем исправлять. Как я уже сказала, я полюбила: и была ли то адская сила, или враждебная судьба, позавидовавши моему чистому счастью, посягнула на него, но она заранее могла торжествовать несомненную победу.

Итак, охваченная новою страстью, как бы вне себя от пзумления, сидела я среди жепщиц, пропуская мимо ушей святую службу, которая еле достигала моего слуха, но не

понимания, и различные разговоры подруг. И так вся я занята была новой внезапною любовью, что все время то мысленно, то глазами смотрела на возлюбленного юношу, сама почти не зная, какой конец предвидеть столь пламенному желанию. О, сколько раз, желая видеть его ближе, я осуждала, зачем стоит он там с другими позади, цenia в то же время его осторожную сдержанность; как надоедали мне молодые люди, что его окружали, а некоторые из них, в то время как я смотрела на него, думали, что на них направлен мой взгляд, и считали, что они любимы мною. Меж тем как мои мысли находились в таком состоянии, окончилась торжественная служба и уже поднялись, чтобы уходить, мои подруги, когда я догадалась об этом, придя в себя от мечтаний о любимом юноше. Итак, вставши с другими, я подняла на него глаза и увидела в его взорах то, что мои хотели бы сказать: «Как горько уходить!» Но все-таки, вздохнув не раз, я удалась, не зная, кто он.

Сострадательные дамы, кто бы поверил, что в один миг сердце так может измениться? Кто бы сказал, что можно, не видя ни разу прежде, с первого взгляда так сильно полюбить? Кто бы подумал, что желанье лицезреть может так возгореться, что, перестав видеть, мучишься жестокою скукой, единственно желая снова встретить? Кто бы вообразил, что все другое, что прежде веселило, вдруг разонравится от нового пристрастья? Никто, конечно, кто не испытал или не испытывает того, что случилось со мною. Увы, как теперь любовь ко мне неслыханно жестока, так и вначале, чтобы схватить меня, угодно было ей применить отличные от обыкновенных средства! Я слыхала неоднократно, что у других желания сначала бывают легкими, потом же, возрастая в мыслях, крепнут и делаются глубокими; у меня же не так: с какою силою вошли они в сердце, с такой же там пребывали и пребывают. Любовь с первого дня всецело овладела мною; как сырое дерево трудно загорается, по загоревшись, тем дольше и пламенней горит, так и со мною. Дотоле никогда не побеждаемая никаким желанием, несмотря на многие искушения, наконец одним побежденная, воспламенела и пламенею и, как никто никогда, служила и служу огню, меня охватившему.

Оставляя в стороне многие мысли, что в это утро мне приходили, и другие обстоятельства, кроме вышеупомянутых, скажу только, что, зажженная новым огнем, вернулась я, раба душою, туда, откуда вышла ея свободной,



Там, оставшись одна в своей комнате, воспламененная различными желаньями, полная новых дум, томимая множеством забот, устремленных к запечатленному образу желанного юноши, я подумала, что, будучи не в силах отогнать любви, должна я тайно и бережно сохранить ее в скорбной груди; лишь испытавший знает, сколь это тяжело, поистине считаю, что тяжелее это, чем сама любовь. Укрепившись в такой намерении, сама себе себя я называла влюбленною, не ведая в кого.

Долго было бы говорить, какие и сколько мыслей эта любовь во мне родила. Но некоторые из них понуждают меня, как бы мимо воли, объяснить, как некоторые вещи начали, против ожидания, мне нравиться. К тому же признаюсь, что, все забыв, одну отраду я находила — мечтать о любимом юноше, и, думая, что такая настойчивость может обнаружить то, что я желала скрыть, часто я упрекала себя в этом, — но что пользы? Мои упреки уступали моим желаньям и, бесполезные, улетали с ветром. Я с каждым днем все сильнее хотела узнать, кто он, любимый мною, к которому влекли меня думы, и тайком, к немалой радости своей, узнала это; наряды, к которым прежде, не нуждаясь в них, была я равнодушна, стали милы мне от мысли, что в убранстве я более понравлюсь; и больше прежнего ценить я стала одежды, золото, жемчуг и другие драгоценности. До той поры я посещала церкви, праздники, сады и лодочные гонки лишь для того, чтобы быть с молодежью, теперь же с новым жаром искала этих мест из желанья видеть и показать себя на радость всем. Обычная уверенность в своей красоте стала меня покидать, и я ни разу не вышла из своей комнаты, не посоветовавшись с верным зеркалом, а мои руки, не зная какому новому искусству научившись, каждый день находили новые, все более прекрасные убранства, к природной красоте прибавив мастерство, и делали меня блистательнейшей между всеми.

Так же и знаки уважения, оказываемые мне другими женщинами из чистой любезности или вследствие моего знатного происхождения, начали считаться мною должными, так как я думала, что чем более возлюбленному буду казаться пышной, тем более я буду ему угодной; свойственная женщинам скупость, покинув меня, сделала щедрой, так что я свои вещи считала как бы не принадлежащими мне; смелость возросла, и даже женской мягкости стало не хватать — так запальчиво я относилась

к тому, что мне правилось; ко всему этому глаза мои, дотоле гядевшие скромно, изменили привычку и стали удивительно искусны в своих взорах. Кроме этих перемен, много других произошло со мною, которых не стоит перечислять, во-первых, потому, что это было бы слишком долго, потом вы сами, думаю, знаете, если, как я, влюблены, сколько всяких вещей происходит в подобных случаях.

А юноша был очень благоразумен, как доказал неоднократно опыт. Он редко и достойно приходил туда, где я бывала, и, будто приняв одно со мной решение скрывать от всех любовный пламень, лишь осторожно на меня взирал. Конечно, если бы я стала отрицать, что при взгляде на него моя любовь (сильней которой ничего не знаю) росла, как бы переполняя душу, — я отрицала бы правду. Его присутствие раздувало горевший во мне пламень и зажигало какие-то потухшие огни, если такие были; но сколь радостно было начало, столь печален был конец: когда я лишилась его лицемерия, тогда глаза, лишённые отрады, несносную причину скорби давали сердцу, все чаще и тяжелее я вздыхала, и желанье, всеми чувствами моими овладев, делало меня как бы вне себя, так что я почти не сознавала, где я; все удивлялись, видя мое состояние, которое потом я должна была объяснять различными предлогами, которые подсказывала мне любовь. А часто, лишившись сна и питанья, я поступала более безумно, чем неожиданно, и произносила необычные слова.

Но вот мое щегольство, вздохи, новые манеры, порывы бешенства, утрата покоя и другие перемены во мне, произведенные новою любовью, возбудили, среди прочих домовых слуг, удивленье моей кормилицы, древней годами и разумом, которая знала, не подавая вида, что за печальный пламень меня сжигает, и часто упрекала меня за перемены. Однажды, увидя меня меланхолично лежащей на кровати с челом, омраченным думами, убедившись, что мы одни, так начала она говорить: «Драгоценная моя дочка, что за заботы тяготят тебя с недавних пор? Ни часа ты не проведешь без вздоха, а прежде я видела тебя всегда веселой, без всякой меланхолии».

Тогда я, вздохнув глубоко, краснея и бледнея, притворилась, будто я сплю и не слышу, повертываясь то в ту, то в другую сторону, чтобы иметь время обдумать ответ, и наконец, еле выговаривая, ответила: «Меня, кормилица



дорогая, ничто не тяготит, я все такая же; но время всех меняет, вот и я стала задумчивее».

«Ну, это, дочка, ты меня обманываешь, — ответила старая мамка, — нехорошо уверять старых людей в одном, а на деле показывать совсем другое; да и пужды нет тебе скрывать от меня то, что я давно отлично знаю».

Услышав это, я сказала, как бы рассердившись и обидевшись: «Если ты знаешь, чего ж ты спрашиваешь? Нечего тебе и говорить, раз ты знаешь».

Тогда она сказала: «Поверь мне, все в тайне сохрани, чего другим не следует знать; провалиться мне на этом месте, если я расскажу что-нибудь, что б тебе было не к чести; научилась я за жизнь-то держать язык за зубами. За меня будь покойна, смотри, как бы кто другой не проведал о том, что я знаю не от тебя, не от людей, а по одному твоему виду. Коль тебе самой правится дурь, что на тебя нашла, и тебе угодно упорствовать, делай как хочешь: тут уж мои советы не помогут. Но так как этот жестокий тиранин, которому так просто ты подчинилась, не остерегшись по молодости лет, с свободой вместе отнимает и рассудок, хочу тебе напомнить и просить: вырви из чистой груди постыдные мысли, угаси пламень бесчестный, не рабствуй мерзостной надежде; теперь время бороться: кто противостоял вначале, тот прогоняет преступную любовь и, побеждая, остается целым; но кто питал ее долгими и льстивыми мыслями, тому поздно свергать иго, которое добровольно наложил на себя».

«Увы, — сказала я тогда, — насколько легче это говорить, чем делать!»

«Хоть и не очень легко это сделать, — ответила она, — однако можно и следует. Ну что ж, ты хочешь из-за одного дня потерять и забыть знатность твоей родни, славу о твоей добродетели, красу цветущую, честь и, главное, своего мужа, столь любящего и любимого тобою? Конечно, ты не должна этого хотеть, и я уверена, что, здраво поразмыслив, ты не захочешь этого. Ради бога, удержишься и отгони обманчивые радости, что обещает тебе нечистая надежда и с ними страсть. Умильно я тебя прошу, заклинаю этою старою, иссохшею грудью, которою ты первая питалась, — спаси сама себя и честь свою и не отвергай моей помощи: ведь тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает».

Тогда я начала: «Дорогая кормилица, я знаю хорошо, что говоришь ты правду, но страсть меня влечет в другую

сторону, моя душа и чрезмерные желания с нею заодно; напрасно ты свои советы тратишь, рассудок мой побеждается страстью, во мне царит и владет мною любовь и бог любви, а ты знаешь, никто не в силах противиться его могуществу». И, так сказав, словно сраженная, упала ей в объятия.

Но она, сперва слегка смутившись, опять начала более строгим голосом: «Вы, толпа прелестной молодежи, распаленная пламенным желаньем и движимая им, вы сочли за божество любовь, которую вернее было бы назвать страстью. Называя это божество Венериным сыном и рассказывая, что оно получило свое могущество от третьего неба, вы ищете свое безумье оправдать неизбежностью. О, вы лжете и совершенно лишены познания! Что говорите? Тот, кто, побуждаемый адскою яростью, внезапным лѐтом всю землю обтскает, — не божество, а скорее безумье тех, кто его принимает, хотя он посещает только тех, чьи души знает пустыми от излишка и светского довольства и склонными ему дать место, — это достаточно очевидно. И правда, разве мы не видим, что святейшая Венера \* часто под скромной кровлей обитает, довольная лишь пользой необходимого нашего размножения? Конечно, так. Но страсть, что зовется любовью, всегда стремясь к разнузданности, пристаёт лишь к богатству. Там она владеет жалкими душами, внушая отвращенье к пище и одежде, необходимым лишь для жизни, и побуждая к блеску и изысканности, куда она и прилепывает свой яд; охотней посещает высокие дворцы, чем хижины, куда заходит редко или никогда; итак это — зараза лишь изысканных мест, всего более подходящих для ее несправедливых действий. В простолюдинах мы наблюдаем здоровые чувства, но богачи, окруженные блеском богатства (к которому они ненасытны, как и ко всему), всегда ищут большего, чем надлежит; кто имеет большую власть, стремится достигнуть той, которой еще не имеет, и я чувствую, что ты, несчастная девушка, одна из них и от избытка благополучия влечешься к новым заботам и новому позору».

Выслушав ее, я сказала: «Молчи, старая, и не спорь с богами. Теперь, бессильная к любви и справедливо всеми пренебрегаемая, ты по воле порицаешь то, что прежде хвалила. Если другие женщины более знаменитые, мудрые, могущественные, чем я, звали его богом, я не могу дать ему другого имени; и я подчинена тому, что может

быть причиной либо моего счастья, либо горя; сил моих больше не стало: побежденные в борьбе с ним, они меня покинули. Один конец моим страданиям: или смерть, или желанный юноша; коль ты мудра, как я тебя считаю, ты бы мне оказала помощь и совет (хотя бы отчасти, прошу тебя), или ты увеличишь мои муки, пороча то, к чему теперь единственно могут стремиться все силы души мсей».

Тогда кормилица в гневе (вполне понятном), не отвечая, а бормоча что-то себе под нос, вышла из комнаты, оставив меня одну.

Уже ушла милая мамушка, умолкли советы, которые я так плохо опровергала; оставшись одна, я все думала о ее словах, которые оказали действие на мой ослепленный рассудок, заколебались только что высказываемые мною намеренья, мелькала мысль, не бросить ли столь справедливо осуждаемые замыслы, хотела я вернуть кормилицу себе на помощь, как вдруг новый случай остановил меня. В тайную мою комнату не знаю как войдя, моим глазам предстала прекраснейшая жена, окруженная таким сияньем, что его едва выдерживало зренье. Она стояла еще молча передо мною, и по мере того как я напрягала свое зрение и до моего сознания достигало прекрасное виденье, я узрела ее пагою, потому что, хотя топчайшее пурпуровое покрывало и обвиняло отчасти ее белоснежное тело, но от взоров скрывало его не более, чем прозрачное стекло скрывает человека, за ним стоящего; на голове ее (а кудри настолько блеском золото превосходили, насколько это последнее превосходит наши золотистые волосы), на голове ее была гирлянда из миртов, которая оттеняла несравнимой красоты сияющие глаза, чудесные для созерцания, и все в лице ее было исполнено прелести, которой равной не найти. Она ничего не говорила, не то довольная, что я люблюсь ею, не то сама люблюсь моим созерцанием; но понемногу через блистающее сиянье открыла мне свою красу, чтобы я узнала, что нет возможности, не видя, представить или описать такое совершенство. Когда она поняла, что я насытилась лицезреньем, и увидела мое удивленье ее приходу и красоте, с веселым ликом и голосом нежнейшим, чем голос смертных, так начала мне говорить: «О дева, ветрепейшая из всех, что замышляешь делать, вняв советам кормилицы? Не знаешь разве, что следовать им гораздо труднее, чем любви, которой ты бежать желаешь? Ты не гадасшь,

сколько и какого они тебе готовят горя? Ты, глупая, едва вступивши к нам, уж хочешь быть не нашей, как тот, кто не знает, какие и сколько у нас наслаждений. О неразумная, остановись и зри, довольно ли тебе того, чего хватает небу и земле. Над всем, что видит Феб \* в своем пути от той минуты, когда он подымает с Гауга \* свои светлые лучи, до того часа, когда для отдыха он погружает усталую колесницу в Гесперидские воды \*, над всем, что заключает холодный Арктур \* и раскаленный полюс, над всем царит, бесспорно, наш сын крылатый \*. И на небе, где много есть богов, нет его могучее, потому что никто не избежал его оружия. На золоченых крыльях, легчайший, он в одно мгновение облетает свое царство и всех посещает, положив на тугую тетиву стрелы, пами сделанные и в наших водах закаленные; п, выбрав достойнейшую себе на служение, быстро ее направляет куда хочет.

Он возжигает жесточайшее пламя в молодых и в усталых старцах вызывает потухший пыл, воспламеняет неведомым огнем чистую грудь девственниц и замужних со вдовами вновь зажигает. И богов, загоревшихся от его факела, он принуждает, покняв небо, сходить на землю под личинами. Разве Феб, победивший великого Пифона \* и настроивший парнасскую кифару \*, разве он не был много раз под его игом, то из-за Дафны \*, то из-за Климены, \* то из-за Левкотои \*, то из-за многих других \*? Конечно, да; и наконец, заключив свое сияние в форму пастишка, влюбленный, нас он стада Адмета \*.

Сам властитель неба, Юпитер, побуждаемый любовью, принимал низшие формы, то под видом белой птицы \*, хлопая крыльями, издавал более нежные звуки, чем предсмертная песнь лебедя, то, обернувшись тельцом \*, украсив лоб рогами, мычал в полях, свою спину унижил девичьей пошей и чрез братское владение греб раздвоенными копытами, избегая пучин, и наслаждался своей добычею. То же он сделал для Семелы \*, не меняя лика, для Алкмены \*, обратившись в Амфитриона, для Каллисто \*, приняв вид Дианы, для Данаи \*, сделавшись золотым дождем, — всего не перечислить. И гордый бог войны \*, чья сила внушает до сих пор страх гигантам, под властью любви укротил свой дикий нрав и сделался влюбленным. И привыкший к огню Юпитеров кузнец, сделавший трезубую молнию \*, был поражен еще более могучею, и я сама, хоть и мать, не смогла уберечься, ибо все видели, как я открыто плакала о смерти Адониса \*. Но для чего утруждаться словами? Ни

один небожитель не остался целым, кроме Дианы; одна она, любительница лесов, избежала любви, хотя и думают другие, что скрыла ее только, не избежала.

Но, может быть, примеры небожителей тебя не убеждают и ищешь ты услышать земных подтверждений, — их столько, что начинать почти не стоит, упомяну лишь те, что отличались наибольшей силой. Посмотри прежде всего на сильнейшего сына Алкмены, как, отложив стрелы и грозную львиную шкуру \*, он украсил пальцы изумрудами, причесал растрепанные волосы и рукою, что прежде носила палицу, убила великого Антея \* и вывела из ада пса \*, прял пряжу за Иолиной прялкой, а плечи, что вместо Атланта груз высокого неба припимали, теперь впервые заключенные в объятия Иолой, покрылись, чтоб ей понравиться, тонкими пурпурными одеждами. А что сделал Парис, любовью движимый? Елена? Клитемнестра \*? А Эгист? Всеми миру это известно; не нужно говорить также об Ахилле, Скилле \*, Ариадне, Леандре, о Дидоне и многих других. Верь мне, это пламя свято и могуче. Ты видела, как все на небе и на земле, люди и небожители, подчинены моему сыну, по что сказать тебе о его власти, простирающейся даже на бессловесных животных и птиц? Через него горлица следует за своим самцом и наши голубки \* с теплым чувством возвращаются к своим и никогда их не покидают, а в рощах робкие олени свирепеют, когда другой коснется с желанием той, которой первый боями и мычаньем давал своей любви пламенные признаки, дикие вепри бесятся и скалят клыки, покрытые пеной от любви, а африканские львы, пораженные любовью, трясут шеей. Но, оставляя леса, замечу, что стрелы моего сына даже через холодную воду поражают стадо морских и речных божеств. Не думаю, чтоб неизвестно тебе было свидетельство Нептуна \*, Главка, Алфея \* и других, которые своею мокрою водою не то что залить, но утишить не могли того пламени, которое, всем будучи известно на земле и под водою, проникает в глубь земли до самого властителя темных болот.

Итак, небо, земля, море, ад по опыту знают его оружие; и чтобы ты из кратких слов могла понять всю величину его могущества, скажу тебе: все подчинено природе, ничто от нее не свободно, она же покорствует любви. Когда она повелевает, стихает древняя вражда и новый гнев смеяется огнем любви; так широка ее власть, что даже мачехи становятся благосклонными (о, диво!) к пасынкам.

Итак, чего ищешь? В чем сомневаешься? Чего бежишь, безумная? Когда столько богов, людей, зверей побеждены любовью, стыдишься быть ею побежденною? Ты не знаешь, что делать, но если ты боишься нареканий за то, что поддавалась любви, они не должны иметь места, потому что примеры тысячи поступков людей, более тебя знаменитых, тебе, менее сильной и менее впавшей в ошибку, будут служить оправданием.

Если же эти слова тебя не трогают и ты все-таки хочешь сопротивляться, значит, ты думаешь быть доблестнее Юпитера, мудрее Феба, богаче Юноны и краше меня, — а мы все побеждены. Ты одна думаешь победить? Ты обманываешься и наконец погибнешь. Тебе довольно того, что только вначале было достаточно всем, но пусть это не понуждает тебя равнодушно говорить: у меня есть муж, святые законы и обет мне это запрещают, — потому что пусты эти доводы перед доблестью любви. Она, сильнейшая, небрежет другим законом, уничтожает его и дает свой. И Пасифая имела мужа, и Федра, и я, а мы любили. Сами мужья, будучи женаты, часто любят других: возьми Ясона, Тесея, сильного Гектора, Улисса. Не будь к ним несправедлива, судя их другим законом, чем сами они судят, им преимущества перед женами не дано; итак, брось глупые мысли и спокойно продолжай любить, кого полюбила. Ведь если ты не хочешь подчиниться любви, тебе следует бежать, а куда убежишь ты, где бы любовь тебя не догнала? Во всех местах ее могущество равно: ты все равно будешь во владениях Амура, где нельзя скрыться, когда он поразить захочет. Достаточно того, что он тебя воспламенил не нечестивым огнем, как Мирру, Семирамиду \*, Библиду \*, Канаку и Клеопатру \*. Ничего необычайного мой сын с тобой не сделал; как всякое божество, он имеет свои законы, не ты первая, не ты, надеюсь, и последняя будешь им следовать. Если ты считаешь себя теперь единственной, ты ошибаешься. Не будем говорить о всем мире, наполненном любовью, но возьмем только твой город, тебе подруг могу указать бесчисленное количество, и помни, что делаемое столькими людьми не может заслуживать названия позорного поступка. Итак, следуй за мной и благодари нашу божественность п красоту, на которую столько любовались, за то, что я вызвала тебя из ряда простых женщин, чтоб узнала ты радость моих даров».

О жалостливые дамы, если любовь благосклопно принимает ваши желания, что можно отвечать таким словам богини, как только не «да будет воля твоя». Она уже умолкла, когда я, рассудив ее слова, нашла их исполненными бесконечного милосердия, и она уже знала, к чему меня подвигла, когда я быстро поднялась с кровати и со смиренным сердцем опустила на колени, так говоря к ней робко: «О дивная и вечная краса, небесная богиня, госпожа моих мыслей, чья власть тем могучее, чем больше ей сопротивляются, прости мне неразумное противление оружию твоего сына, не узнанного мною, и пусть со мною будет по твоему желанию и обещанию; ты же в урочное время оправдай мою веру, чтобы, взысканная тобою меж другими, я увеличила число твоих бесчисленных подданных».

Едва произнесла я эти слова, как она двинулась с того места, где стояла, подошла ко мне и с пламенным желанием на лице, обнявши, поцеловала меня в лоб. Затем, подобно лживому Асканию, который дышанием зажег в Дидоне тайное пламя, она, дохнув мне в уста, сделала первые мои желания более пылкими, как я почувствовала. И, приоткрыв пурпурное покрывало между нежных грудей, показала мне изображение возлюбленного юноши, завернутое в тонкий плащ с предосторожностями, вроде моих, и так сказала: «Взирай на него, юная жепа,— не Лисса, не Гета, не Биррия, не кто-нибудь тебе в возлюбленные даи, достоин он любви богини; по нашей воле тебя он любит и будет любить больше самого себя; итак, без страха, радостно его любви предайся. Твои молитвы тронули наш слух, достойные, и потому надейся, что без ошибки награда ждет твои поступки».

И тут, умолкнув, вдруг из очей моих скрылась.

Увы мне, несчастной! Во мне не явилось ни тени подозренья, что, как показало будущее, не Венера являлась ко мне, но скорее Тисифона, что, скрывши свои волосы, наводяще ужас, подобно Юпоне, скрывшей некогда блистание своей божественности, облекшись в светлый вид, как та в старческий, ко мне пришла будто к Семеле, подобным же советом побуждая меня к конечной гибели; и я, приняв его, к несчастью, вас, верность благоговейная, почтенный стыд, святейшая чистота, единственное сокровище честных женщин,— вас прегнала я. Но простите мне, ведь можно о прощении молить, хотя бы наказание грешника и продолжалось.



Когда богиня скрылась, я осталась с открытой душой к ее наслаждениям, и будто новый разум мне дала пестивая страсть, которую я сдерживала не знаю как; из всех потерянных мною благ одно осталось: сознание, что редко или никогда так открыто не давалось обещание любви конца счастливого. И потому, часто раздумывая о трудно исполнимых замыслах, я решила не рассуждать о желании довести до конца эту именно волю. И правда, как ни теснил меня неоднократно случай, мне была оказываема такая милость, что я проходила горе, мужественно и без промаха борясь. И верно, силы эти мои еще не исчезли, потому что, хотя я описываю одну правду, но так ее расположила, что, исключая того, кому, как мне, известны все причины, никто, как бы остро у него ни было соображение, не узнает, кто я. И я молю того, если когда-нибудь случайно эта книжечка попадетс я ему в руки, любовью молю скрыть все, что не клонится, очевидно, к его пользе или чести. И если он лишил меня чести, незаслуженно с моей стороны, то пусть он не захочет лишить меня той чести, которую несправедливо я пошу и которую, как бы он ни хотел, не сможет мне вернуть обратно.

Итак, имея такое намерение и изнемогая под тяжестью страданий, я дала волю заветнейшим желаниям и сумела незаметным образом, когда представился случай, зажечь юношу тем же огнем, каким пылала я, и сделать его осторожным, подобно мне. По правде, это не стоило больших трудов; если лицо — зеркало сердца, то я скоро увидела, что мое желание увенчалось успехом, и его я увидела не только полным любовного жара, но и совершенной осторожности, чему была я крайне рада. Он, питая полное уважение, желая не подвергать опасности мою честь и в то же время, насколько возможно, удовлетворить своим желаниям, с большим трудом и хитростью достиг близкого знакомства с некоторыми моими родственниками и, наконец, с моим мужем; с последним он не только познакомился, но так мило поддерживал это знакомство, что тот не находил большего удовольствия, как находиться с ним. Я думаю, вы знаете и без меня, как было это мне приятно, притом кто был бы настолько глуп, чтоб не понять, что эта близость давала нам возможность иногда разговаривать в присутствии других лиц?



Но ему уже казалось, что настало время приступить к более тонким вещам, и вот, когда он видел, что я могу его слышать, говоря то с тем, то с другим, он разговаривал о предметах, из которых я узнала, пламенно желая научиться, что словами не только можно выразить свою любовь кому-либо и получить ответ, но что разными движениями рук и лица можно многое показать; мне это очень понравилось, и я поняла, что нет ничего, чего бы мы не могли друг другу изъяснить и правильно понять. Не довольствуясь этим, чтобы точнее выразить мне свои желания, он придумал называть себя Панфило, а меня — Фьямметтой. О, сколько раз, разгоряченный пиром, едой и любовью, перенося Панфило и Фьямметту в Грецию, он рассказывал, как он в меня, а я в него с первого взгляда влюбились и какая нас постигла судьба, давая местам и людям, упоминавшимся в этом рассказе, подходящие названия. Конечно, я часто смеялась не столько над его хитростью, сколько над простодушием слушателей, иногда я боялась, как бы, увлекшись, он не проболтался, но он был умнее, чем я думала, и всегда с большою ловкостью избегал подобных ошибок.

О сострадательные дамы, чему только не научит любовь своих подданных и кого не сделает способным к науке! Я, совсем простая девушка, едва могущая раскрыть рот между подругами о житейских вопросах, с таким увлечением переяла у него манеру говорить, что в короткое время выдумкой и красноречием превзошла поэтов; и мало было предметов, на которые, узнав положение дела, я не могла бы тотчас ответить вымышленной повестью, а этому, по-моему, не так легко научить девушку, а тем более заставить ее рассказывать или действовать. Если бы нужно было по ходу рассказа, я могла бы сообщить (положим, неважную мелочь), с какою тонкою опытностью мы убедились в верности одной приближенной служанки, которой мы решили открыть тайный огонь, никому еще не известный, рассудив, что, не имея посредников, мы не сможем более скрываться без серьезных несчастий. Так же долго было бы писать о решепнях, какие мы с ним принимали по поводу различных вещей; может быть, подобные решения другими не только никогда не приводились в исполнение, но даже в голову не приходили; хотя все они, как я вижу теперь, клонились к моей гибели, однако не потому мне горестно было их узнавать.

Если меня, женщины, не обманывает воображение, не мала была стойкость наших душ, если представить себе, как трудно двум молодым влюбленным столь долгое время не сойти с благоразумного пути, хотя бы обоим толкало к тому сильнейшее желание; неплохо поступили тот и другая, если за этот поступок, соверши его более сильные люди, они достигли бы высокой и достойной похвалы. Но перо мое более приятное, чем достойное, готовится описывать то состояние любви, когда никто уже, ни волею, ни делом, не может заставить ее уклониться с пути. Но прежде, чем перейду к этому, как только могу, с мольбой взываю к вашему состраданию и к той любовной силе, что, находясь в вашей нежной груди, к такому же концу склоняет и ваши желания, прошу вас, если мой рассказ оскорбит вас (не говорю о фактах, так как знаю, что, если вы не находитесь в таком положении, то желаете находиться в нем), пусть любовь быстро встанет на мою защиту. А ты, почтенная стыдливость, поздно мною узнанная, прости мне; прошу тебя, оставь без угроз робких женщин спокойно прочитать в моей повести о том, чего они сами себе, любя, желают.

День за днем проходили в привычной надежде: оба переносили с трудом такое промедленье, друг другу тайно говоря, как трудно это, свыше сил, как сами вы, которые желаете, чтобы насильно случилось то, чего хотите добровольно, знаете обычаи влюбленных женщин. Итак, он, не доверяя в этом отношении моим словам, выбрав подходящее время и место, более смело, чем мудро, более пламенно, чем искусно, получил от меня то, чего и я (хотя и притворялась в противном) желала. Если бы я говорила, что это было причиной моей любви к нему, я бы призналась, что без сильнейшей скорби не могу об этом вспомнить; но бог свидетель, этот случай был только незначительнейшею причиною моей к нему любви; однако не отрицаю, что это и теперь, и тогда было мне всего дороже. И кто бы был так неразумен, чтобы не желать любимым предмет иметь подле себя раньше, чем расстаться? И как усиливается любовь после того, как почувствуешь его близко к себе? Признаюсь, что после этого случая, доселе знакомого мною лишь в мечтах, не раз, не два, по часто судьба и разум наш дарили нас тем счастьем полной радости долгое время, хотя теперь мне кажется, что оно пролетело быстрее и легче ветра. В течение этих веселых

дней ни разу не было, и подтвердить это может любовь, единственная возможная свидетельница, чтоб мой страх, дозволен ли его приход, не был тайным образом им преодолен. О, как дорога была ему моя комната и с какою радостью она его встречала! Он чтит ее, как храм. Увы, сладкие поцелуи, любовные объятия, почи, до света без сна, проводимые в нежных речах! Сколько других ласк, дорогих любовникам, узнали мы в это блаженное время! Святейшая стыдливость, узда вольным умам, зачем ты не ушла, как я тебя просила об этом? Зачем удерживать мое перо, готовое описывать прошлое блаженство затем, чтобы последующее несчастье тем сильнее тронуло состраданием влюбленные сердца? Как ты мешаешь мне, думая оказать помощь! Я хочу рассказать гораздо больше, а ты не допускаешь.

Но пусть те из вас, кто имеет преимущество по сказанному догадываться о том, что умалчивается, расскажут это другим, менее догадливым. И пусть какая-нибудь неразумная, будто ничего не понимая, не говорит мне, что было бы приличнее не открывать того, что я написала: кто может противиться любви, когда ее все силы на вас направлены? Я часто клала перо, но вновь брала его, побуждаемая любовью; притом же приличествует, чтобы послушно повиновалась я тому, чему, свободная, сопротивляться сначала не сумела. Я знаю от нее, что радость скрытая такую же имеет цену, как клад, зарытый в землю. Но почему в этом рассказе я так охотно медлю? Тогда неоднократно я благодарила святую богиню, что обещала и дала мне такие наслаждения. О, сколько раз в ее венке я приносила фимиам к ее алтарю и хулила советы кормилицы-старухи! Кроме того, довольная больше всех моих подруг, я высмеивала их любовь, издеваясь над тем, что сердцу моему было всего дороже. И часто сама с собой я говорила: никто так не любит, как я; никто более достойного юноши не любит, никто так радостно плодов любви не собирает, как я их собираю. Скоро весь мир стал мне ничем, казалось, что головой я достигаю неба, и я считала, что для полного блаженства не хватает лишь одного: открыто объявить причину моей радости, полагая, что всем должно нравиться то, что нравится мне. Но меня удерживала, с одной стороны, стыдливость, с другой — страх, угрожая вечным бесчестьем и потерей того, чего впоследствии судьба меня лишила. И так по воле любви жила я, не завидуя другим женщинам,

радостно любя, в довольстве, не думая, что наслаждение, которому с открытым сердцем предавалась, было корнями дерева грядущих бедствий, которое теперь я с жалостью вижу бесплодным.

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой Фьямметта рассказывает, почему ее возлюбленный разлучился с нею, и скорбь, произошедшую от этой разлуки

Меж тем как я, дорогие дамы, проводила дни свои в вышеописанной веселой и радостной жизни, мало о будущем думая, враждебная ко мне судьба втайне готовила свои отравы, с непрерывною гневностью меня, не знающую этого, преследуя. Не довольствуясь тем, что из свободной женщины сделала меня любви рабою, видя, сколь радостно мне это рабство, она, словно жгучей крапивой, стала бичевать мою душу. И когда наступило ожидаемое ею время, приготовила она, как скоро услышите, свои горькие травы, вкусить которые довелось мне против воли, и они веселье в печаль обратили мне, а в горький плач — смех сладкий. Не только вытерпеть все это, но одна мысль, что я должна рассказать это другим, наполняет меня таким состраданием к самой себе, что я почти лишаюсь чувств, на глаза навертываются слезы, не знаю, как вести свою повесть; однако, как могу, буду ее продолжать.

Однажды я и он в скучную, дождливую пору (когда молчаливая ночь тянется дольше обычного) отдыхали в моей комнате на богатом ложе; утомленная нами Венера почти сдавалась побежденная, а яркий свет, зажженный в одной части комнаты, давал возможность взорам возлюбленного веселиться моей красотой, моим же — его. Но пока во время разговора мои глаза впивали высшую сладость красоты и блеск их был как бы опьянен ею, случилось, что, не знаю, каким обманчивым сном побежденные, прервав мою речь, они сомкнулись. Когда этот сон так же сладко прошел, как и пришел, мой слух был поражен грустными стонами моего дорогого возлюбленного; внезапно обеспокоенная за его здоровье, хотела уже я спросить: «Что с тобою?» Но, побежденная новой мыслью, я промолчала и, острым взором смотря тайком на него, лежавшего по другую сторону кровати, слушала некоторое время, наострив уши. Но больше ничто не дошло до

моего слуха, хотя я видела, что он рыдает и что лицо его и грудь омочены слезами.

О, как выразить состояние моей души, когда я видела его в таком положении, причины же не знала! Тысяча мыслей в один миг пронеслась в моей голове, и все свелось к одной, что он любит другую женщину и потому так страдает. С уст моих готов был сорваться вопрос: «Что тебя мучит?» Но я удерживалась из боязни, как бы ему не было стыдно, что я видела его слезы; также я остерегалась смотреть на него, чтобы мои теплые слезы, упавши на него, не дали ему понять, что он наблюдаем мною. В нетерпении сколько способов придумывала я, чтобы он не догадался, что я его видела, и ни в чем меня не заподозрил. Наконец, побежденная желанием знать причину его рыданий, чтобы он обернулся ко мне, я сделала так, как люди, которые просыпаются от страшного сна, падения, диких зверей или другой какой опасности, прерывая сновидение вместе со сном; я в ужасе закричала, уронив ему на плечи одну из рук своих. Обман, очевидно, удался, потому что тот, перестав плакать, обернулся быстро ко мне с бесконечною радостью и ласково сказал: «Душа моя, чего страшиться?» На это я немедленно отвечала: «Казалось мне, тебя я потеряла».

Увы! Насколько слова мои, к которым не знаю какой дух меня побудил, оказались пророчеством и верными предвестниками будущего, как я теперь вижу!

Но он ответил: «Милая, ты лишь мертвым можешь меня потерять».

Непосредственно за этими словами он тяжело вздохнул, и не успела я, желая знать причину прежних стонov, спросить его об этом, как слезы хлынули из глаз его ручьем и вновь обильно смочили еще не высохшую грудь; и долго он держал меня в тяжелой скорби, уже плачущую, не будучи в состоянии произнести слова от рыданий, пока смог ответить на мои расспросы. Но, освободившись несколько от напора чувств, часто прерываясь рыданиями, так он ответил мне: «Дорогая моя, превыше всего мною любимая, как можешь видеть из ясных доказательств, если мои стоны заслуживают какой-нибудь веры, ты убедишься, что не без горькой некой причины я так обильно проливаю слезы, как только вспомню о том, что меня мучит в столь радостном свидании с тобою, — подумать только, что не могу, как я хотел бы, раздвоиться, чтоб удовлетворить и любви, и должной жалости,

в одно и то же время здесь оставаясь и идя туда, куда насильно влечет необходимейшая нужда. От этой невозможности сердце мое несчастное в тяжелой пребывает скорби, как у того, кого жалость, с одной стороны, вырывает из твоих объятий, любовь, с другой стороны, с всею силою в них удерживает».

С неиспытанною доселе горечью входили эти слова в мое несчастное сердце, и разум их не вполне еще постигал, однако чем более они доходили до слуха, чуткого к их враждебности, тем скорее, в слезы обратившись, они выходили из моих глаз, оставляя в сердце горький осадок. Тогда впервые я узнала скорби в моем счастье, тогда впервые я узнала такие слезы, которых он ни словами, ни утешеньями, хотя в них не было недостатка, сдержать не мог. Проплакав достаточное время, я стала просить яснее пояснить мне, что за жалость вырывает его из моих объятий: тогда он, не переставая плакать, мне сказал: «Неизбежная смерть, конец наших дней, из всех сыновей теперь одного меня оставила моему отцу, один я из братьев могу быть опорой вдового старца; не имея более надежды иметь детей, не видя меня долгие годы, теперь он призывает меня себе в утешенье. Многие месяцы я придумывал всякие отговорки, чтобы избежать разлуки с тобою, но теперь он не принимает больше никаких, постоянно заклиная меня приехать к нему моим детством, в лоне его печально возвращенном, его непрерывною ко мне любовью, моею, что должен я питать к нему, сыновним долгом и другими еще более важными доводами. Кроме того, он заставляет родственников и друзей побуждать меня к тому торжественными мольбами, говоря, что безутешно душа его покинет тело, если он меня не увидит. Увы! Как сильны законы природы! Я не мог, не могу сделать, чтобы при всей моей любви к тебе у меня не нашлось места и этой жалости; итак, решив, с твоего согласия, поехать повидаться с отцом и пробыть там короткое время ему в утешенье, не знаю, как проживу без тебя, и лишь вспомню об этом, небеспричинно зальюсь слезами».

Тут он умолк.

Если с кем из слушательниц случались такие случаи в горячей любви, те поймут, какова была печаль души моей, безмерно пламенной, его любви уже вкусившей, если же нет, то не понять вам: так скудны все слова и все примеры. Скажу только, что при этих словах душа

моя была готова покинуть тело и покинула бы, если бы и не почувствовала себя в объятиях возлюбленного; но долго от ужаса и горькой скорби я слова вымолвить сил не имела. Но чрез некоторое время, как бы привыкнув к доселе певедомой скорби, вернулись мои испуганные силы, глаза застывшие вновь получили слезный ток и язык способность говорить, — и так я обратилась к господину дней моих:

«Последняя надежда дум моих, пусть мои слова найдут силу, войдя в твою душу, изменить новое твое решение, чтобы, если ты меня так любишь, как говоришь, не расставаться нам обоим с печальной жизнью раньше срока. Ты колеблешься между любовью и жалостью, но если верны прежние твои неоднократные уверения в любви, никакая жалость не должна превозмогать этого чувства и отрывать тебя от меня, пока я жива, и вот почему. Тебе очевидно, что, исполняя свое намерение, ты в большой опасности оставляешь мою жизнь, когда я едва день могу прожить, не видя тебя; ты можешь быть уверен, что с тобою вместе покинет меня всякая радость. И этого было бы достаточно, но кто будет сомневаться, что всякая неожиданная печаль меня, вероятно или даже наверное, убьет? Сегодня ты должен был понять, каких усилий стоит молодым и нежным женщинам спокойно вынести такие несчастья. Ты, может быть, скажешь, что прежде, любя так сильно, я выносила бóльшие; отчасти я согласна, но тогда были совсем другие причины, надежда и желание делали мне легким то, что теперь будет непереносимым. Когда желание меня томило выше меры, кто отрицал бы, что и ты, влюбленный, как и я, испытываешь то же? Никто, конечно; когда ж ты будешь разлучен со мною, сознания этого не будет. Кроме того, тогда тебя я знала только с виду, хотя и уважала, теперь же вижу и знаю на деле, что ты дороже мне, чем я могла воображать, и сделался настолько моим, насколько может возлюбленный своей быть даме. И вне сомненья, что горестнее нам терять то, что имеем, чем то, что лишь надеемся иметь, хотя бы надежда и готова была осуществиться. Итак, приняв все это во внимание, я ясно вижу неизбежность моей смерти. Что ж, предпочтя жалость к старому отцу законной жалости ко мне, ты будешь причиной моей смерти? Ты не возлюбленным, а врагом окажешься, если так поступишь. Ты захочешь (и сможешь, так как я согласна) предпочесть недолгие уже годы отца сохранить, а не мои, кому разумно



долгий век еще предположить? Увы, несправедлива будет эта жалость! И ты думаешь, Панфило, что кто-нибудь, связанный с тобою родством, кровью или дружбой, любит тебя, как я тебя люблю? Считаешь плохо, если так считаешь; по правде, никто тебя, как я, не любит. Если же я люблю тебя больше других, то больше заслуживаю и жалости, справедливо и достойно будет, если ты, сжалившись надо мною, всякую другую жалость, противоречащую этой, отбросишь, а отца оставишь одного на покое; как прежде долго жил он без тебя, так и теперь пускай живет иль умирает. Уж много лет, если я не ошибаюсь, он избегал смерти и зажился на свете; и если тягостно живет, как старики, то большею жалостью с твоей стороны будет оставить его умереть, чем своим присутствием поддерживать тягостную жизнь.

Но мне, которая без тебя не жила и не проживет без тебя, мне надобно помочь; я еще так молода и ожидаю долгих и веселых лет с тобою вместе. Да, если бы твой приход помог отцу, как помогли Ясону Медеины снадобья, тогда, конечно, твой поступок был бы справедлив и я сама тебя послала бы, как бы это ни было мне тяжело, по знаешь сам, что это не так и не может быть так. Но вот ты оказываешься более жестоким, нежели я думала; если меня, которую ты полюбил и любишь по вольному выбору, ты так мало ценишь, что моей любви хочешь предпочесть напрасную жалость к старику, с которым ничего особенного нет, то пожалей хоть себя, если не его и не меня; ведь ты, пробывши час без меня, ни жив, ни мертв (если твое лицо и слова меня не обманывают), здесь жо столь долгое время, которого потребует нехстати пришедшая жалость, ты думаешь прожить, не видя меня? Боже мой! Рассуди хорошенько: ведь ты можешь умереть от этого пути (если правда, как я слышала, что долгая скорбь убивает людей), а видно по твоим слезам, по биению твоего сердца, которое беспорядочно стучится в твоей стесненной груди, что этот путь будет очень тяжел для тебя; если же смерть тебя не постигнет, то жизни худшей, нежели смерть, не избежишь. Увы, как томится влюбленное мое сердце состраданьем к себе самой и к тебе! И я прошу тебя, не будь так безрассуден, чтобы из жалости к кому бы то ни было подвергать себя самого большой опасности! Подумай, ведь кто себя не любит, ничего в мире не имеет. Разве твой отец, к которому ты нынче так жалостлив, дал тебя миру, раз ты сам можешь уйти из него?



Без сомнения, если бы ему можно было открыть наше положение, он сам бы, будучи мудрым, посоветовал бы тебе остаться. И если бы рассудительность его к этому не побудила бы, побудила бы жалость; я думаю, что тебе самому это очевидно. Представь, что это решение, которое он посоветовал бы, зная дело, он уже сделал, — по его совету и оставь это путешествие, столь гибельное для нас обоих.

Дорогой мой повелитель, конечно, я привела достаточно убедительные доводы, чтобы послушаться их и остаться, принимая в соображение, куда ты едешь; положим, ты едешь на родину, для каждого естественно дорогую, но, судя по твоим словам, она тебе опостылела. Ведь, как ты сам говорил, твой город исполнен хвастливых речей и малодушных поступков, подчиняется не закону, а произволу людей, всегда раздираем внешними и междоусобными войнами, населен гордыми, скупыми и завистливыми людьми и полон бесчисленных забот; все это отнюдь не подходит к состоянию твоей души. Город же, который ты собираешься покинуть, тебе представляется веселым, мирным, обильным, щедрым и подчинен одному королю; если я тебя хоть немного знаю, тебе это должно было бы быть приятно; кроме же всех перечисленных вещей, тут пахожусь я, которой ты не найдешь в другом месте. Итак, брось мучительное намерение и, переменив план, позаботься о твоей и моей жизни, оставшись здесь, прошу тебя».

Мои слова увеличили его слезы, которые я пила, смешанные с поцелуями. Но он, после многих вздохов, так мне ответил:

«Сокровище души моей, я вижу, что ты безусловно права, и мне очевидны все опасности; чтобы ответить кратко, не как я хотел бы, а как заставляет меня нужда, скажу, что, мне кажется, ты должна позволить мне иметь возможность краткою скорбью расплатиться с давним и большим долгом. Ты должна быть уверена, что меня побуждает не только законная жалость к старому отцу, но еще больше жалость к нам самим, которая, если бы позволено было открыться и предположить, что твой совет оставить отца умирать одного, мог быть услышан, кроме отца, еще кем-нибудь, — меня бы оправдала; по так как эта жалость должна быть тайной и не обнаруживаться, я не вижу, как я могу поступить иначе без того, чтобы навлечь на себя жестокие упреки и бесчестье. Чтобы избежать этих упреков исполнением долга, я буду лишен

счастья три или четыре месяца, по истечении которых или даже раньше, я, безусловно, вернусь к тебе, к нашей обоюдной радости. А что то место, куда я еду, так неприятно (по сравнению с этим, где ты находишься), так это должно тебя радовать, убеждая, что не какая-нибудь другая причина меня увлекает отсюда и что в силу неблагоприятности места я вернусь оттуда сюда. Итак, позволь мне уехать, и как прежде всего ты заботилась о моей чести и пользе, так и теперь будь терпелива, чтобы я, зная, насколько тебе тяжел этот случай, был болсе уверен на будущее, что всегда моя честь тебе так же дорога, как моя жизнь».

Он сказал и замолчал, тогда я начала так говорить:

«Ясно вижу, что ты решил в непреклонной своей душе! Мне кажется, что ты почти совсем не думаешь, в жертву каких забот предаешь ты меня, уезжая; ни дня, ни ночи, ни часа не пробуду я без страха, всегда буду в трепете за твою жизнь, о которой молю бога, чтоб он продлил ее в счет моих дней, поскольку ты захочешь. Но зачем напрасно я буду все перечислять! Не столько песка в море, не столько в небе звезд, сколько опасностей и несчастий грозят смертным, и когда ты уедешь, без сомнения, все они будут представляться мне. Увы! Печальное житье! Мне стыдно сказать, что мне приходит в голову, по так как, по рассказам, это возможно, скажу все-таки. Если на родине, где, по слухам, есть много прекрасных жепщин, очень способных любить и быть любимыми, ты встретишь кого-нибудь, кто тебе поправится, и меня для нее позабудешь, что за жизнь моя будет? Если ты меня так любишь, как говоришь, подумай, что бы ты сделал, когда бы я тебя променяла на другого? Этого никогда не будет, лучше руки на себя наложу, чем допустить это.

Перестанем говорить об этом и не будем искушать небо, чтоб не пакликать, чего не желаем. Раз ты твердо решил ехать, мне нужно подчиниться необходимости, так как мне все правится, что тебе правится. Однако, если возможно, исполни мое желание, отложи немного свой отъезд, чтобы за это время, постоянно думая и воображая разлуку, я приготовилась, как перенести жизнь без тебя. Это тебя не очень стеснит, тем более что погода, которая все портится, со мною заодно. Разве ты не видишь, что все небо заволклось тучами, того и гляди, пойдет дождь, снег, подыметя ветер и ударит гром. И ты знаешь, что теперь от непрерывных ливней все ручьи разлились в ши-

рокие реки. Кто же сам себе враг, чтобы отправляться в путь по такой погоде? В данном случае, если ты не хочешь исполнить моего желанья, так исполни свой долг. Подожди, когда дожди пройдут и установится погода, тогда лучше и безопаснее ты отправишься, а я, привыкши уже к печальным мыслям, более терпеливо буду ждать твоего возвращенья».

На это он мне проворно ответил:

«Дорогая моя, тягостные муки и разные заботы, в которых я тебя, наперекор желанью, оставляю и которые, несомненно, уношу также с собою, смягчаются веселой надеждой на возвращенье; не надо думать о том, что и здесь, как в другом месте, может меня постигнуть (то есть о смерти), ни о предстоящих случаях, которые могут как повредить, так и принести пользу. Где бы ни нашли человека гнев или милость божья, там и надлежит неизбежно испытывать благополучие и несчастье. Итак, предоставь все это покорно рукам божьим, который лучше нас знает, что нам нужно, и только моли его, чтоб все обратилось в благо. Любовь такую цепью приковала мое сердце к твоему владычеству, что едва ли, даже если б я захотел, когда-нибудь я полюблю другую женщину, кроме Фьямметты. В том будь уверена, что скорее па земле засияют звезды, а небо, вспаханное быками, произрастит спелую пшеницу, чем Панфило полюбит другую женщину. Охотнее, чем ты просишь, я отсрочил бы свой отъезд, если бы считал это полезным для нас обоих, но чем дольше его откладывать, тем нам все будет большее. Если я уеду сейчас, я вернусь раньше того срока, что ты назначила для приготовления к разлуке, и, вместо того чтобы тосковать, думая о предстоящем отъезде, ты будешь горевать в моем отсутствии. Что же касается дурной погоды, то, как прошлые разы, прибегну я к спасительному средству, которое с помощью божьей будет действовать даже и на обратном пути. Итак, лучше решишь с добрым сердцем сразу подвергнуться тому, что неизбежно, чем ждать в печали и трепете».

Мои слезы, приостановившиеся было во время моей речи, при этом ответе, совсем не таком, какого я ожидала, полились с удвоенною силою; положив отяжелевшую голову ему на грудь, я долго молчала, не зная, согласиться ли с ним или противоречить. Но увы! Кто бы на эти слова не ответил: «Делай как хочешь, возвращайся скорее!» Никто, конечно; я так и ответила с большою грустью и со

слезами, прибавив только, что будет большим чудом, если по возвращении он найдет меня в живых.

После этого разговора, утешая друг друга, мы отерли слезы и в эту ночь больше не плакали. По обыкновению, до своего отъезда, который был через несколько дней, он часто виделся со мною, хотя не мог не заметить перемены в моих привычках и желаниях. Последнюю же ночь моего счастья мы провели не без слез в различных беседах, и хотя по времени года она была одной из самых длинных, мне показалась она кратчайшей. И день, враждебный любовникам, начал уже тушить звезды, когда, услышав приближение утра, я крепко обняла друга, сказав:

«О нежный господин мой, кто тебя от меня отнимает? Какой бог с такою силою свой гнев направил на меня, что при моей жизни скажут: «Панфило нет там, где его Фьямметта!» Увы! Если б я знала, куда уходишь! Когда тсперь доведется мне обнять тебя? Боюсь, что никогда».

Я не знаю, что говорила, сердцем чуя недоброе, и, горько плача, утешаемая им, его целовала. Крепко обнимаясь, мы медлили вставать, пока не поднял нас, торопя, утренний свет. Когда же он готовился поцеловать меня в последний раз, заговорила я со слезами:

«Вот ты уходишь, господин мой, и обещаешь скоро быть обратно; если тебе нетрудно, поклянись мне в этом (не думай, чтоб я не верила твоим словам), чтобы я могла черпать силы в надежде на будущую верность».

Тогда он, склонившись на мою шею, как бы в изнеможении, мешая свои слезы с моими, слабым голосом молвил:

«Любимая моя, клянусь тебе лучезарным Аполлоном, который теперь, быстро подымаясь против нашего желанья, побуждает к скорому отъезду и чьих лучей я жду как вожатых, и нерасторжимой любовью нашей, и жалостью, что разлучает нас, клянусь: по окончится четвертый месяц, как (с соизволенья неба) ты увидишь меня вернувшимся! — Засим взял меня за руку правую рукою, обернулся к тому месту, где виделись священные изображения наших богов, и сказал:— Святейшие боги, владыки неба и земли, будьте свидетелями этого обещания и клятвы, что я даю своей десницей; а ты, Амур, будь соучастником; а ты, прекраснейшая горница, что мне желанней, чем небеса богам, была ты тайною свидетельницей наших желаний, сохрани же и эти слова; если я по своей вине их не сдержу, пусть боги на меня разгневаются, как

в старину Церера па Эрпсихтона\*, Диана па Актеона и Юнона па Семелу».

Сказав это, он обнял меня от всей души и стал прощаться прерывистым голосом. При этих словах, залившись горькими слезами, я не могла вымолвить ни слова, пока наконец, поборов себя, не произнесла печальными устами следующего:

«Пусть клятву, что мои уши слышали и что моя десница от твоей получила, так в небесах Юпитер запечатлеет, как Изида \* мольбы Телетусы, а на земле пускай она вполне исполнится, как ты хочешь и как я желаю».

Провожая его до дверей своего дворца, хотела сказать «прости», — вдруг языка лишилась и свет в глазах померк. И как надломленная роза в открытом поле среди зеленых трав, почуя солнечные лучи, никнет, теряя цвет, так я, полуживая, упала на руки моей служанки и долго пребывала так, пока верхней прислужница холодной влагой меня не возвратила к печальной жизни; думая, что он все еще у дверей, как бешеный бык, получив смертельный удар, в ярости прыжками подымается, так поднялась я, ошеломленная, почти не видя, побежала, раскрыв объятия, и заключила в них свою служанку, думая, что это мой господин, и хриплым голосом, вконец рыданьями разбитым, сказала: «Прощай, душа моя!»

Служанка промолчала, видя мою ошибку, я же, очнувшись и увидев, что я обозналась, едва сдержалась, чтобы снова не лишиться чувств.

Уже совсем был белый день, когда, увидя себя в горнице без своего Панфило, обвела я глазами стены и, долго помолчав, спросила, будто сама не зная, у служанки, что с ним случилось. Плача, та отвечала: «Уж много времени прошло, как он сюда принес вас на руках и днем был принужден, заливаясь слезами, расстаться с вами».

Я ей сказала: «Значит, он уехал?»

«Да», — ответила служанка.

Тогда я спросила дальше: «С каким же видом он уехал? С мрачным?»

«С печальным, — ответила она, — я никогда не видела никого грустнее».

«Что он делал, что говорил, когда уезжал?»

Она ответила: «Вы как мертвая остались на моих руках, душа ваша блуждала неведомо где; когда он увидел вас в таком положении, нежно взял к себе на руки, ища рукою, не покинула ли вас боязливая душа, но, услыша,

что ваше сердце сильно бьется, заплакал и сотню раз призывал вас к последним поцелуям. Но, видя вас недвижною, как мрамор, принес вас сюда и, опасаясь худшего, со слезами целовал ваше лицо и говорил: «Высшие боги, если в моем отъезде есть какая-нибудь вина, пусть кара падет на меня, а не на невинную женщину; верните ее блуждающую душу, чтоб мы были утешены последним утешением увидеться перед разлукой и поцеловаться на прощанье». Но, видя, что вы не приходите в чувство, растерявшись, не зная, что сделать, потихоньку положил вас на постель, и как морские волны, гонимые ветром и дождем, то набегают, то отступают, так он отходил от вас, медлил на пороге, смотрел в окно на небо, неблагоприятное его пребыванию, потом снова возвращался к вам, снова звал вас, проливал слезы и целовал ваше лицо. И повторялось это несколько раз; наконец, видя, что дольше не может оставаться, обнял вас со словами: «Нежнейшая из жен, единственная надежда печального сердца, которую я против воли оставляю лишеною чувства, пусть бог тебя укрепит и сохранит, чтобы счастливые еще мы свиделись, а не разделились горькой разлукой неутешные!» При этих словах он так горько плакал, что иногда я боялась, как бы его рыданий не услышал кто-нибудь из домашних или соседей. Но, видя, что яркое утро не дает ему возможности оставаться дольше, заливаясь слезами, он простился и, будто изнемогая, запнулся о порог и вышел из вашего дома. Выйдя на улицу, он будто совсем не мог идти, так оборачивался на каждом шагу, словно надеясь, что вы пришли в себя и я его верну».

Тут она умолкла; я же, милые дамы, можете представить, в какой скорби об уехавшем любезном безутешно осталась плакать.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой описывается, что думала и делала Фьямметта до дня, когда ее возлюбленный обещал вернуться

В таком состоянии, как я описала, любезные дамы, я осталась после отъезда моего Панфило и много дней в слезах горевала о его отсутствии, все время мысленно говоря: «О Панфило мой, как могло случиться, что ты меня покинул?» И, вспоминая это имя, я несколько утешалась. Я обводила глазами, полными желанья, свою ком-

нату, говоря себе: «Здесь Папфило мой сидел, там лежал, здесь обещал мне вернуться скоро, там я его поцеловала». И всякий уголок был мил мне. Иногда я воображала, что он вернулся и придет ко мне, и, как будто он в самом деле пришел, обращала взоры свои к двери; и, одураченная собственной выдумкой, так страдала, будто в самом деле была обманута. Часто, чтобы не предаваться бесполезным мечтаньям, я хотела прияться за какое-нибудь дело, но под властью новой фантазии бросала его, и несчастное сердце непрерывно меня мучило необычным биением. Я вспоминала многое, что я хотела бы ему сказать и что сказала, его слова про себя повторяла, и так, равнодушная ко всему, многие дни провела я в печали.

Но когда боль первых минут после разлуки под влиянием времени несколько смягчилась, ко мне стали приходить более здравые мысли и доводы более правдоподобные. Через несколько дней, находясь в своей комнате, я так рассуждала сама с собою: «Вот теперь твой милый уехал и едет, а ты, несчастная, не могла ни проститься с ним, ни ответить на поцелуй, данные твоему помертвевшему лицу, ни видеть его отъезда; может быть, он помнит это и, если случится с ним какое-нибудь затруднительное положение, приняв твою молчаливость за дурное предзнаменование, может упрекнуть себя за тебя». Эта мысль меня сначала очень огорчила, но потом ее вытеснило другое соображение, а именно: «За это нечего упрекать, потому что если он не глуп, то случай со мною скорее сочтет за счастливое предзнаменование, говоря: „Она не простилась, как прощаются с уезжающими надолго или навсегда, но молча, как бы считая меня около себя, она указала на кратковременность нашей разлуки“». И, так утешая сама себя, я предавалась новым и новым мыслям.

Иногда я начинала беспокоиться, что он запнулся о порог, уходя, как рассказывала мне верная служанка, и приходило мне на память, что не по иному какому признаку была у Лаодамии уверенность, что не вернется Протесилай, и много раз я об этом плакала, думая, что это предвещает то, что случилось. Но, не понимая еще, что грядущее мне готовит, я думала, что мысли эти, как пустые, нужно гнать прочь. Но они не уходили по моему желанию, а иногда уступали место другим, столь многочисленным и разнообразным, что даже количество их вспомнить я затруднилась бы.



И всякий раз, как я вспомпала, что он в дороге, мне приходили на ум стихи Овидия, прежде читанные, что труд и усталость у молодых прогоняют любовь из головы. А зная, что это — немалая доука тем особенно, кто делает против воли и привык к покою, я опасалась, во-первых, как бы он меня не забыл, а потом, как бы не захворал или не случилось с ним чего-нибудь еще худшего от непривычного утомления и дурной погоды. Помню, что этим я больше всего была озабочена, хотя, принимая во внимание, как он плакал, что я видела собственными глазами, и что я не теряю верности от утомления, предполагала, что невозможно такому незначительному горю угасить столь сильную любовь, и надеялась, что его молодость и осторожность в опасных случаях оставят его в целости.

Так сама с собою сомневалась, вопрошала, отвечала и провела в этом столько дней, что не только считала его приехавшим на родину, но даже была извещена об этом его письмом. По многим причинам было приятно мне это письмо, открыто выражавшее весь его пыл и клятвенными обещаньями оживившее мои надежды на его возвращение.

С этих пор, оставивши прежние думы, внезапно предалась я новым мыслям, родившимся вместо тех. Иногда размышляла: «Теперь Панфило, как единственный сын старого отца, который его много лет не видел, принимается с большим ликованьем, я не думаю, что он не вспоминает обо мне, но боюсь, что прокликает те месяцы, что он по разным причинам промедлил из-за любви ко мне, и, чувствуемый то тем другом, то другим, может быть, порицает меня, которая только и умела, что любить, пока он был здесь; а сердце, преданное празднествам, готово забыть одно место и привязаться к другому. Увы, возможно ли, чтобы я его потеряла таким образом? Едва ли вероятно. Боже, не допусти, и как я принадлежала и принадлежу ему среди своих родственников и в своем городе, так и его сохрани моим на его родине среди своих». Увы, с какими слезами смешивались эти слова, но с еще большими были бы смешаны, если б я верила тому, что они как бы предвидели, так как те, что тогда я не доплакала, впоследствии вдвойне, но втуне пролила.

Помимо этих размышлений, сама душа моя, вещунья грядущих зол, часто охваченная неведомым страхом, трепетала, и этот страх иногда выражался в таких ображениях: «Теперь Панфило на своей родине посещает вс-



ликолепные храмы, которых там так много, торжественные богослужения и, без всякого сомнения, видит там множество женщин, они же (как я неоднократно слышала) не только славятся красотой, но и веселостью, прелестью и умением, как никто, завлекать в свои сети. А кто так бдительно себя устережет, чтобы при таком стечении обстоятельств, положим, против воли, насильно не был бы увлечен? Я сама влюбилась против воли, к тому же новое всегда приятно. Поэтому легко может случиться, что он им, а те ему понравятся как новинка». О, как было тяжело мне представить это! Наспелу могла я прогнать мысль о том, чего с ним не должно было случиться, так рассуждая: «Как же может Панфило, любящий тебя больше самого себя, полюбить кого-нибудь сердцем, которое занято тобою? Разве ты не знаешь, что здесь была одна, вполне достойная его, которая усиленно, не только взглядами, хотела проникнуть в его сердце и не могла? Едва ли вероятно, чтобы он так скоро, как ты говоришь, влюбился, даже не будучи твоим, которой он уже столько времени принадлежит, и предположив, что те женщины по красоте и искусству равняются богиням. К тому же неужели ты веришь, чтобы он для какой-нибудь другой нарушил клятвы, данные тебе? Он этого никогда бы не сделал, и ты должна иметь доверие к его скромности. Ты рассудительно должна подумать, что не настолько он неразумен, чтобы не знать, что глупо бросать, что имеешь, чтобы приобретать то, чего не имеешь, если только не бросаешь ничтожнейшей вещи, чтобы приобрести очень значительную; итак, имей неложную надежду, что всего этого не может быть. Кроме того, если тебе говорили правду, то в его городе нет ни одной такой богатой и привлекательной женщины, как ты; к тому же кого он найдет, которая так же сильно, как ты, его любила бы? Если он человек опытный, то знает, как трудно склонить женщину к новой любви; даже если они полюбят, что редко случается, то всегда показывают вид, противоположный их желанию. Даже если б он тебя не любил, то, занятый своими делами, не нашел бы времени ухаживать за новыми женщинами; а потому не думай об этом, а считай установленным, что насколько ты любишь, настолько ты любима».

О, как ошибочно я рассуждала, софистику противопоставляя истине! Но всеми своими рассуждениями я не могла искоренить из сердца ревности, присоединившейся ко

всем моим горестям. Но будто действительно придя к выводу, несколько облегченная, я добровольно удалялась от этих мыслей.

Дорогие дамы, чтоб мне не тратить времени на перечисление каждой моей мысли, послушайте внимательней, что я сделала, хотя я продолжаю свой рассказ не для того, чтобы вы удивлялись моим поступкам, хотя бы они и были странны, ибо я действовала не по своему желанию, а по внушению любви. Редкое утро проходило без того, чтобы я, вставши, не поднималась на вышку дома и оттуда, вроде моряков, которые с корабельного марса смотрят, не мешает ли им близкий берег или скалы, не смотрела на весь небосвод, потом, остановив свой взор на востоке, наблюдала, сколько вставшее над горизонтом солнце протекло из нового дня; и чем более высоко поднявшимся я его видела, тем ближайшим считала срок возвращения Панфило. И много раз так созерцала его, почти не видя, в упоенье смотря его пройденный путь то по уменьшению моей тени, то по увеличению расстояния между землей и солнцем, и говорила про себя, что летится оно в течении и больше дней представляет Козерогу, чем Раку их дается обыкновенно; когда оно всходило на зенит, я упрекала, что слишком долго оно любит землю, и даже когда оно стремительно клонилось к закату, мне казалось, что оно медлит. И когда оно, скрыв свет свой от земли, светить пускало звезды, я радовалась и, считая дни и этот наравне с другими протекшими, отмечала маленьким камешком, как древние, что знаменовали счастливые и несчастные дни белыми и черными камнями. Вспоминаю, что часто я раньше времени отмечала, думая, что чем больше камешков будет в прошедших днях, тем скорее пройдет время, и хотя отлично наизусть знала число их, однако все пересчитывала то прошедших, то оставшихся дней отметки, будто надеясь, что первые будут увеличиваться, а вторые уменьшаться. Так желание меня переносило к концу срока.

Сделав эти тщетные работы, чаще всего возвращалась я в свою комнату, где больше любила оставаться одной, нежели в обществе. Чтобы бежать тягостных мыслей, когда я оставалась наедине, открывала я один сундук, из которого вынимала по очереди разные вещи, принадлежавшие Панфило, смотрела на них, будто на него самого, любовалась, едва сдерживая слезы, вздыхая и целуя, и спрашивала их, будто разумные существа: «Когда-то бу-

дет здесь господи ваш?» Тут, оставя их, я вынимала бесконечные письма его ко мне и, почти все перечитывая, будто беседуя с ним, немного утешалась; часто звала служанку и разговаривала с нею о нем, спрашивала ее мнение, когда вернется Панфило или что она о нем думает и не слыхала ли чего. На что она, или чтоб угодить мне, или действительно так думая, говорила утешительные речи; иногда так без скуки полдня и проходило.

Кроме этих утешений, жалостливые дамы, любила я еще посещать храмы или сидеть у дверей, хотя иногда разговоры и заставляли меня снова беспокоиться; часто находясь в этих местах, я видела молодых людей, с которыми я неоднократно видела Панфило; я всегда вглядывалась в них, будто ища среди них Панфило. Часто я ошибалась, но, несмотря на ошибки, мне было отрадно их видеть, ибо казалось (если их вид не лгал), что они сочувствуют моим страданиям и сами будто не так веселы, как обыкновенно, покинутые своим товарищем. Если бы соображение не удерживало меня, так бы и спросила у них, по знают ли они чего о своем друге. Один раз судьба была ко мне благосклонна: не предполагая, что мне слышен их разговор, они как-то рассуждали о нем и говорили, что он скоро вернется. Напрасно я трудилась бы выразить, как это меня обрадовало. Таким-то и подобным образом проводила я дни, тяжкие для меня, несмотря на свою краткость, ожидая ночи, не потому, чтобы я считала ее более легкой, но чтобы с ее наступлением скорей проходило время.

Но когда день, окончивши свои часы, сменялся ночью, новые заботы мною овладевали. С детства я боялась темноты, но любовь меня приучила быть храброй; и вот, услышав, что в доме спят, одна взбиралась я не раз туда, откуда утром смотрела на солнечный восход, и, как Арунс \*, что среди белых мраморов Лукаских гор следил небесные светила и их ход, зная, что заботы не дадут мне уснуть, смотрела я на небо, и быстрый бег луны казался мне медлительным. Не раз, вперив внимательные взоры в рогатую луну, я думала, что она стремится не к полноте, но все острее с каждой ночью. И тем пламеннее было мое желание, чем скорее увидеть я хотела пройденными четыре фазы быстрым бегом. О, сколько раз подолгу любовалась я холодным светом, воображая, что, может быть, глаза Панфило в это время, как и мои, прикованы к луне! Теперь я не сомневаюсь, что я была безумна и

он не думал даже смотреть на луну, а преспокойно спал в постели. И помню, что, мучимая медлительностью луны, я, согласно древним суевериям, хотела музыкой помочь ей достигнуть полнолуния; когда же она достигала полноты, как бы довольная своим сияньем, казалось мне, что медлит она и не заботится опять к рогам вернуться, хотя в душе подчас я ее оправдывала, понимая, что ей милее оставаться с матерью, чем возвращаться в темные владенья супруга. Но хорошо помню, что часто, привыкши обращаться к ней с молитвою, вдруг начипала ей угрожать, говоря: «О Фебея, скупая наградительница полученных услуг! Мои жаркими молитвами старалась я уменьшить твои мученья, тебе же все равно, что медленной ленью мои ты увеличиваешь, и вот, рогатая, когда опять за помощью ко мне придешь, я тоже буду лепиться, как ты теперь. Разве ты не знаешь, что чем скорее и трижды себя покажешь рогатой и столько же раз круглой, тем скорее ко мне Панфило мой возвратится? Вернется он, тогда как хочешь бегай по своим кругам, быстро или медленно».

Конечно, то же безумье, что мне подсказывало эти молитвы, заставляло меня видеть то, будто она, испугавшись моих угроз, по моему желанию быстрее катилась, то, будто пренебрегая мною, тащилась медленнее, чем всегда. Это частое созерцанье сделало меня такой осведомленной в изменениях луны, что, будь она видима вся, или частью, или соединена с какой-нибудь звездой, я определенно могла сказать, какая часть почти прошла; так же, если луна еще не взошла, могла я узнавать по Большой и Малой Медведице. Кто бы поверил, что любовь может научить астрологии, науке, свойственной тончайшему уму, а не обуреваемому страстью сердцу? Когда тучи и бури скрывали небо совершенно от глаз, я собирала в свою комнату служанок (если не была занята чем-нибудь другим), рассказывала сама и заставляла рассказывать разные истории, которые чем были неправдоподобнее, как имеют обычай рассказывать эти люди, тем более, казалось, были способны разогнать мою тоску и развеселить меня, так что я при всей своей меланхолии весело смеялась. Если по каким-нибудь законным причинам этого нельзя было, то я разыскивала в разных книгах жалостные истории и, приурочивая их к себе, чувствовала себя менее одинокой и проводила время не так томительно. И не знаю, что было мне отраднее: наблюдать, как

идет время, или, будучи занятой другим занятием, увидеть, что оно уже прошло.

Но после того как долгое время занималась я такими и другими занятиями, почти против воли, отлично зная, что это будет тщетно, я шла спать, или, вернее, лечь спать. И одна, лежа на кровати в тишине, почти все думая, что за день имела, я вспомнила, повторяя все доводы за и против, хотела думать о другом, но редко это удавалось; все-таки иногда, с усилием отделившись от них, лежа на том месте, где мой Панфило лежал, и чувствуя будто его запах, была довольна, и про себя его звала, и, словно бы он мог меня услышать, просила скорей вернуться.

Потом, воображая, что он вернулся, представляла его со мною, рассказывала, спрашивала, сама вместо него отвечая; случалось, что так на этом и засыпала; и сон такой бывал часто мне приятней бдения, потому что, будучи продолжительным, как живое мне представлял, что наяву я лишь воображала. Иногда мне снилось, что он вернулся и я брожу с ним в прекраснейших садах, украшенных деревьями, цветами и разными плодами, брожу, как прежде, без страха, рука в руку, и он рассказывает свои приключения, и, раньше чем он кончал говорить, я прерываю речь его поцелую и говорю, как будто вижу наяву: «Как, в самом деле ты вернулся? Конечно, вот я тебя касаюсь!» — и снова его целую. Другой раз снилось мне, что я с ним на морском берегу в веселый праздник, и я сама себя убеждаю, говоря: «Да, я не сплю, я в самом деле его обнимала». Ах, как было горько, когда сон проходил! Я носила в себе те картины, что без труда во сне мне представлялись, и хотя была в печали, весь следующий день ходила, радуясь, в надежде, что скоро ночь вернется и мне вернет во сне то, чего наяву я лишена. И хотя случалось, что сны мне были так приятны, но не дано мне было их видеть без горькой примеси, потому что бывали почи, когда я видела его в рубище, всего в пятках, бледного, дрожащего, как изгнанник, кричащего мне: «На помощь!» Иногда мне казалось, что мне говорят о его смерти, и я его видела перед собою мертвым или в другом печальном образе, и никогда сон не мог преодолеть моей скорби. Визапно проснувшись и видя, что это не более как пустой сон, я почти благодарила бога за это сновиденье, но продолжала оставаться смущенной, боясь, что сны мои изображают если не всю действительность,

то часть ее. Всегда бывала этим расстроена, хотя слышала от других и сама знала, что все сны призрачны и лживы; не имея от него сведений, я усердно старалась всеми путями их иметь.

Так проводила, ожидая, я дни и ночи. Когда приблизился срок назначенного возвращения, я решила, что полезней будет веселиться, чтобы красота моя, несколько стертая скорбью, опять вернулась и, подурневши, я бы не отвратила его от себя при его приезде. Сделать это было тем легче, что, привыкши к страданиям, я их переносила с меньшею тягостью, а близкая надежда на обещанное возвращение наполняла меня все дни непривычною радостью. Прервав пемного развлечения вследствие мрачного времени, с его переменой снова я к ним вернулась; как только замкнутая в тяжелую горечь душа начала предаваться увеселениям, я снова сделалась прекрасною, как никогда. И как рыцарь к будущей битве готовит нужное ему вооружение, так я улучшала дорогие наряды и драгоценные уборы, чтобы быть блистательнее к его приезду, которого я тщетно ждала в обманчивой надежде.

С моими поступками изменились и мои мысли. Больше не приходило мне на ум ни то, что я его с отъезда не видела, ни то, что он запнулся (дурная примета), ни труды, им подъятые, ни скорби,— и еще за восемь дней до назначенного срока я говорила: «Панфило соскучился по мне в разлуке и, видя, что приближается срок, готовится к обратному пути и, может быть, оставя старого отца, уже находится в дороге».

Как сладко мне было так рассуждать! Как часто произвольно обращалась я к этим мыслям, думая, как лучше встретить его. Увы! Сколько раз я говорила: «Когда он вернется, я зацелую его так, что он не сможет сказать ни одного слова, чтобы я не прервала его поцелуем; сторпцей выплачу ему те поцелуи, которыми он покрывал мое помертвелое лицо при отъезде».

Боялась только, что, если первая встреча будет при посторонних, я не выдержу и брошусь его целовать. Но об этом позаботилось небо самым неприятным для меня образом. Кто бы ни входил в мою комнату, я думала всякий раз, что приходят возвестить мне приезд Панфило. Я прислушивалась ко всем разговорам, думая услышать весть о приезде Панфило. Непрестанно я вскакивала с места и бежала к окну под разными предлогами, на самом деле от неразумной мысли, что, может быть, Пац-

Фило уже вернулся и идет ко мне. И потом, видя свою ошибку, возвращалась почти в смущенье. Пользуясь тем, что он должен что-то привезти моему мужу, я часто узнавала и посылала узнавать, не приехал ли он и когда его ждут. Но никакого утешительного ответа я не получала, как будто он никогда и не должен был вернуться, что он и сделал.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой Фьямметта рассказывает, что она думала и как проводила время после того, как срок прошел, а Панфило ее не возвращался

В таких для меня заботах, жалостливые дамы, не только наступил столь желанный и в тоске ожидаемый срок, но еще многие дни сверх него; и сама еще не зная, порицать ли его или нет, не потеряв окончательно надежды, я умерила радостные мысли, которым, может быть, излишне предавалась; новые мысли забродили у меня в голове, и, укрепившись прежде всего в желании узнать причину, почему он просрочил, я стала придумывать оправдания, какие он сам лично, будучи здесь, мог бы привести. Иногда я говорила: «Фьямметта, зачем ты думаешь, что Панфило твой не возвращается по другой причине, чем простая невозможность? Часто непредвиденные случайности постигают людей, и для будущих поступков нельзя так точно определить срок. Без сомнения, жалость к людям, с которыми мы находимся, сильнее сострадания к отсутствующим; я уверена, что он меня искренне любит и, побуждаемый любовью и жалостью к горькой моей жизни, хотел бы вернуться домой, но, может быть, старик отец слезами и просьбами убедил его остаться дольше, чем тот хотел; когда сможет, он придет».

Эти оправдательные рассуждения часто побуждали меня к новым и более важным мыслям. Я думала так: «Кто знает, может быть, у него желание приехать к сроку и видеть меня преодолело сострадание, и он, пренебрегнув всеми делами и сыновним долгом, отправился в путь и, не дождавшись тихой погоды, доверился морякам, смелым из выгоды и лживым, сел на судно и в бурю погиб? Ведь совершенно таким образом Геро лишилась Леандра. Кто может знать, не занесла ли его судьба на необитаемый



остров, где, спасшись от утопления, он пошел голодную смерть или растерзан дикими зверями? Или просто забытый там, как Ахеменид\*, ждет, кто его возьмет оттуда? Кто не знает, как море коварно? Может быть, он взят в плен пиратами или другими врагами и закован в цепи». Все эти вполне возможные случаи я себе представляла.

С другой стороны, и сухопутное путешествие мне представлялось не менее опасным, и там много случайностей могли его задержать. Переходя мысленно к худшим возможностям и тем более находя его заслуживающим извинения, чем более важные причины его отсутствия я полагала, нередко думала я так: «Теперь от более горячего солнца тает снег в горах, откуда стремятся неистовым и шумным потоком реки, которых немало ему придется пересезжать; если он, желая переправиться, вступил в одну из них, упал, вместе с лошастью его закрыло, понесло и он утонул, то как он может приехать? А ведь не редкость такие случаи, что при переправах люди тонут. Избежав этой опасности, он мог попасть в разбойничью западню, обокраден ими и держится в плену или заболел в дороге и приедет, когда выздоровеет».

Думая об этом, я обливалась холодным потом и так боялась, что часто молилась богу, чтоб это прекратилось, как будто перед моими глазами он подвергался всем этим опасностям.

Помню, я часто плакала, будучи вполне уверена, что одно из воображаемых мною несчастий с ним случилось. Но потом говорила себе: «Что рисуют мне жалкие мысли?! Боже, не допусти! Пусть он не возвращается, живет там, сколько хочет, только бы не случилось с ним тех несчастий, мысли о которых меня, конечно, вводят в заблуждение. Потому что, если, допустим, они и возможны, но невозможно, чтобы они оставались скрытыми, гораздо правдоподобней, что смерть такого юноши сделалась бы известна, особенно мне, которая, в беспокойстве, наводила непрерывные и очень ловкие о нем справки. Несомненно, что если б какое-нибудь из воображаемых мною несчастий было на самом деле, то молва, быстрейшая вестница бед, донесла бы сюда слух об этом; а случай, столь неблагоприятный для меня теперь, открыл бы широкую дорогу этим слухам, чтоб еще более меня опечалить. Скорей, я думаю, он, к большому горю для себя (как и для меня,

если он не приедет), задержан против воли и скоро вернется или в утешенье мне придет извинительное письмо о причинах своей задержки».

Конечно, я и эти мысли, столь сильно меня бушевавшие, довольно легко преодолевала и все старалась удерживать надежду, готовую улететь, когда срок возвращения был просрочен, больше значения придавая нашей взаимной любви, обетам, клятве и горьким слезам; мне казалось, что измена не сможет побороть всего этого. Но в моей было власти, чтобы надежда, так удерживаемая, не уступила места оставленным было мыслям, которые, медленно и молча вытесняя ее понемногу из моего сердца, водворились на прежние места, приводя мне на память дурные предзнаменования и другие явления, и я заметила это уже тогда, когда почувствовала себя в их власти, надежда же почти совсем исчезла. Но более всего (в течение многих дней не слыша ничего о возвращении Панфило) я ревностью была томима. Она язвила меня против моей воли, она все оправдания, что ему я находила, как будто зная его вину, уничтожала, она опять забытые уже мысли на память мне приводила, говоря: «О! Как можешь быть ты так неразумна, чтобы не знать, что ни сыновья любовь, ни важные дела, ни развлечения не могли бы удержать Панфило, если бы он тебя так любил, как говорит? Не знаешь разве ты, что любовь все побеждает? Конечно, он, позабывши тебя, влюбился в другую, и эта новая любовь его там держит, как здесь держала любовь к тебе. Эти женщины, как ты уже сказала, всячески способны любить, он сам имеет к этому склонность и весьма достоин любви любой из них, и они снова влюбят его для обоюдного счастья. Что же ты думаешь, что не у всех женщин глаза во лбу, как у тебя, и что они не знают, что ты знаешь? Отлично знают. А ему, ты думаешь, ни одна из них не может понравиться? Конечно, полагаю, что, если бы он мог тебя видеть, он бы не полюбил другой; но теперь он тебя не может видеть и сколько месяцев уж не видал. Должна ты знать, что ни одно мирское явление не вечно; как он в тебя влюбился и ты ему нравилась, так может ему понравиться другая, и он, любовь к тебе забывши, ее полюбил. Новое всегда больше нравится, нежели виденное, и всегда человек сильнее желает того, чего не имеет, чем того, чем обладает, и нет ничего, что бы от времени становилось милее. И кто не предпочтет любовь новой дамы в своей стране любви

старинной на чужбине? Может быть, он тебя вовсе не так горячо любил, как показывал, а ничьи слезы не могут служить залогом такой любви, какую ты ему приписывала.

Ведь случается, что люди, побыв вместе всего несколько дней, уже мучатся и горько плачут, клянутся, обещают то, что наверное думают исполнить, потом случится что-нибудь новое, — и все клятвы вылетают вон из головы. Разве так редко, что молодые люди слезами, клятвами и обещаниями обманывают женщин? Они умеют это раньше, чем любить, непостоянство этому их учит: всякий из них предпочтет в один месяц переменить десять женщин, чем десять месяцев любить одну и ту же; они всегда ищут новые лица и характеры и хвастаются, что многих любят. На что надеешься? Зачем напрасно предаешься пустой доверчивости? Ты не в силах отвлечь его, перестань любить и покажи, что таким же способом, как ты была обманута, ты сама можешь обмануть».

Такие речи возбуждали во мне неистовый гнев, ужасным жаром воспаляли душу и побуждали к бешеным поступкам. Но тотчас ярость сменялась горькими слезами (иногда очень продолжительными), из груди вырывались тяжкие вздохи; чтобы успокоиться, гнала я вещи мысли и насильно надежду возвращала. И так долгое время провела, то надеясь, то отчаяваясь, то непрерывно стараясь узнать, что с ним случилось, что он не едет.

## ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой Фьямметта рассказывает, как до нее дошли слухи, что Панфило женился, и как, отчаявшись в его возвращении, печально она проводила жизнь

До сей поры, жалостливые дамы, все слезы покажутся легкими, все мои вздохи приятными в сравнении с теми, что печальное перо мое, более ленивое к описанию, чем сердце к чувству, готовится изобразить вам. И правда, если предыдущие горести могли рассматриваться как злоключения молодой женщины, более страстной, нежели несчастной, то последующие будут совсем другого рода. Итак, укрепите духом, чтобы вас, если вам рассказанные происшествия казались тягостными, не испугали мои обещания, что последующие будут еще тягостнее, и, право, я побуждаю вас к этому печальному запятию не

столько для того чтобы разжалобить вас моею судьбою, сколько для того чтобы вы, узнавши причину моих бед, остереглись так доверяться всякому юноше; и может быть, в одно и то же время себя я привлеку к повествованию, вас отвлеку советом и излечу, поведав, что со мной случилось.

Скажу вам, женщины, что, больше месяца по истечении обещанного срока проведя в вышеописанных домыслах, однажды я услышала повесть о любимом юноше. С благоговейной душою отправилась я посетить святых монахинь и помолиться, чтобы господь или вернул мне Панфило, или, изгнав его из моей памяти, потерянную крепость мне возвратил; и случилось, что, когда я скромно беседовала с сестрами, соединенными со мною узами родства и давнишней дружбы, пришел туда купец, который нам, что Улисс и Диомед Дейдамины \* и ее сестрам, стал показывать различные убранства, приличные таким женщинам.

По его выговору я узнала, что он земляк Панфило, что он и сам подтвердил, будучи спрошен одною из монахинь. Показав свой товар и продав кое-что из него, он весело стал болтать с сестрами; покуда он ждал платы, одна из них, молодая, красивая, благородного происхождения, та самая, что прежде узнавала, кто и откуда он, теперь спросила, не знал ли он когда-нибудь Панфило, своего земляка. О, как такой вопрос совпал с моим желаньем!

Конечно, я была очень довольна и прислушалась к ответу. Купец проворно ответил: «Да кто же лучше меня его знает?»

Девушка с притворным любопытством спросила: «А что с ним теперь?»

«О,— ответил купец,— довольно с него и того, что отец, у которого он единственный сын, к себе его вызвал».

Девушка опять спросила: «Как давно ты имел о нем последние новости?»

«Я думаю, еще нет и двух недель, как я с ним расстался»,— ответил тот.

Женщина продолжала: «А тогда как он поживал?»

Тот ей ответил: «Отлично: в тот самый день, когда я уезжал, я видел, как в его дом входила с большою пышностью прекрасная госпожа, которая была, как я узнал, его молодою супругою».

Меж тем как купец это говорил (хотя я слушала с горчайшей скорбью), я пристально смотрела на лицо вопрошающей, думая с удивлением, что ее побуждает узнавать такие близкие подробности о том, кого считала я едва знакомым с другими женщинами. И я увидела, что лишь только до ее слуха достигло, что Панфило женился, как она, опустив глаза, покраснела, быстрая речь замерла на устах, и я заметила, что она едва удерживается от слез. Потрясенная словами купца и внезапно пронзенная еще новою скорбью, насилу я сдержалась, чтоб с ругательствами не упрекать ее за ее смущенье, ревнуя, зачем так явпо выдает она свою любовь к Панфило, меж тем как я больше ее имела бы законных причин страдать от слышанного. Однако я сдержалась и тоскливым усилием, подобное которому вряд ли найдется, скрыла сердечное волненье, не изменившись в лице, скорей готовая заплакать, чем слушать дальше.

Но девушка, тоже скрывши скорбь, быть может, с таким же усилием, как и я, будто и не она это так смутилась, попросила подтверждения этой новости, по чем больше расспрашивала, тем более убеждалась в том, что так противоречило ее и моему желанью. Потом, простившись с купцом и смехом скрыв свою печаль, я провела там в веселой беседе гораздо больше времени, чем хотела.

Когда беседа прекратилась, мы разошлись, и я с душою, исполненною мучительного гнева, трепеца, как ливийский лев, что в западне охотников завидел, пошла к себе домой, то краснея, то бледнея, то замедляя шаг, то ускоряя его больше, чем позволяет женское достоинство. И как только я нашла возможным отдалиться своим чувствам, войдя в свою горницу, принялась я горько плакать; а когда долгие слезы отчасти умерили мою печаль, так что дар слова мне вернулся, так слабым голосом я пачала: «Теперь, несчастная Фьямметта, ты знаешь, почему Панфило твой не возвращается; теперь ты знаешь, почему так медлит твой желанный; теперь нашла ты, чего искала! Чего же еще ищешь? Чего просишь? Довольно. Панфило уже не твой, отбрось желанье снова его иметь, покинь напрасную надежду, прекрати горячую любовь, оставь неразумные мысли, но лучше доверяйся предчувствиям вещей твоей души и научись распознавать обманы юношей. Вот ты пришла туда, куда приходят все слишком доверчивые люди».

При этих словах снова охватывал меня гнев, и слезы еще сильнее струились. И снова более твердые слова я лачипала: «Вы, боги, где вы? Куда взираете? Куда вы правите свой гнев? Зачем не падает он на того, кто на- смеялся вашей власти? Юпитер-клятвопреступник, что делают твои перуны? Куда теперь их мечешь? Кто пече- стивее их заслужил? Как не поразишь негоднейшего юношу, чтобы другие впредь боялись нарушать клятву? О светлый Феб, где ныне твои стрелы, их меньше заслу- жил Пифон пронзенный, чем тот, кто лживо призывал тебя в свидетели своих обманов? Лиши его света лучей твоих, нежалостливым будь к нему, как прежде был к несчастному Эдипу \*. Вы боги и богини, и ты, Амур, чья власть осмеяна лживым любовником, что не покажете теперь своей власти и праведного гнева? Зачем не обра- тите вы небо и землю против новобрачного, чтоб не слу- жил он примером обманщика, презревшего вашу власть, и не оставался, чтоб еще дольше длить надругательство! Ведь много меньших проступков побуждали ваш гнев к менее справедливому отмщенью. Что ж медлите теперь? Достаточно жестокими к нему вы быть не можете в за- служенном наказанье.

О, я, несчастная! Когда бы возможно было, чтоб вы, как я, почувствовали на себе последствия его обмана, чтоб загореться вам, как мне, желаньем наказать! О боги, пусть часть несчастий или даже все те, которых для него я опасалась, и обратятся на него! Пошлите ему какую угодно смерть, чтоб я в последний раз всю боль из-за него испытала,— и отомстите зараз ему и мне! Не допус- тите, чтоб я одна страдала за его грехи, а он, позорно на- смеявшись над вами и надо мною, спокойно наслаждался с новою супругой, в то время как меч правосудия пора- жает безвишного!»

Потом не с гневом, но со слезами к Панфило обраца- ясь, так, помнится, я говорила: «Панфило, теперь я знаю причину твоего отсутствия, теперь твои обманы мне от- крылись; теперь я вижу, какая жалость тебя удерживает. Теперь ты празднуешь свой брак, а я, словами твоими обманутая и обманувшаяся, томлюсь, рыдая, и смерть себе готовлю; она придет, проворная, твоей жестокостью влекомая, и прекратятся дни, которые я так желала бы продлить,— и ты будешь причиной этого. О негодный юноша, быстрый к моему горю! С каким сердцем женился ты? Ты думаешь и ее обмануть, как обманул меня?»

Какими глазами ты на нее смотрел? Теми, что обольстили меня, несчастную, слишком доверчивую? Какую клятву ты ей дал? Ту же, что и мне? Но как ты мог это делать? Разве ты не знаешь, что раз обещанная вещь не может быть обещана в другой раз? Какими богами клялся ты? Теми же, клятвы которым ты нарушил? Я не знаю, какое превратное желание тебя так ослепило, что ты, чувствуя себя моим, другой предался. Увы, чем заслужила я такое отношение? Куда от нас так быстро отлетел легкий Амур? Увы, как тягостно теснит печальная судьба несчастных! Теперь ты все: клятвы, что произнес и подтвердил десницей, богов, которыми ты поручился о возврате, но не вернулся, свои льстивые слова, что так часто дарил мне, слезы, которыми не только свое, но и мое лицо ты орошал,— все бросаешь по ветру и весело живешь с новой женою, падо мною издеваясь?!

Увы, кто мог подумать, что ложь таится в твоих словах и что твои слезы искусственны? Не я, конечно, так как мне казалось, что твои слова и слезы искренни, я их за таковые и принимала. Может быть, ты скажешь, что слезы были искренни и клятвы даны от чистого сердца, тогда какое оправдание найдешь ты, что их не сохранил так же свято, как дал их? Ты скажешь, что прелесть новой женщины была причиной этого? Причина слаба и только явственно доказывает непостоянство. И кроме того, разве она меня удовлетворит? Конечно, нет. Злой юноша! Разве не видишь, как пламенно тебя любила и люблю помимо воли? Конечно, ты это знал, тем легче было тебе меня обманывать. Но ты, чтобы показаться тоньше, все искусство слова хотел пустить в ход. Ты не подумал, что честь невелика ввести в обман женщину, столь доверявшую тебе. Моя простота заслуживала бы большей верности, чем та, которую ты выказал. Что говорить! Я верила тебе самому так же, как богам, которыми ты клялся; теперь же молю их: пусть это будет славнейшим подвигом твоим, что ты обманул ту, что любила тебя больше самой себя.

Скажи, Панфило, сделала ли я что-нибудь, чтобы ты мне так хитро изменил? Против тебя ни в чем я не провинилась, кроме того, что неразумно в тебя влюбилась, и любила, и верила тебе больше, чем нужно; но эта вина не заслуживает, особенно с твоей стороны, такого наказания. Действительно, я знаю за собою преступленье, которым навлекла я на себя небесный гнев: это — при-



нять тебя, негодного и безжалостного юношу, себе в постель и терпеть, чтоб ты лежал со мною рядом и касался меня, но, может быть, ты в этом был более меня виновен, как они сами видели; ты же сам, будто привыкший ранее к обманам, искусно пашел случай застать меня среди тихой ночи мирно спящей и, заключив в объятия почти насильно, победил стыдливость,— я была почти еще всецело во власти сна. Что было делать мне, видя это? Кричать — и этим криком навлечь на себя вечное бесчестье, а на тебя, которого любила я больше, чем самое себя, накликать смерть? Видит Бог, я сопротивлялась, насколько могла, но ты победил и овладел своей добычей. Увы, день, предшествовавший этой ночи, был последним, в который я могла бы умереть честной!

Какая скорбь теперь меня постигла! Ты, находясь с избранной девушкой, чтобы поправиться ей больше, будешь рассказывать про старые любви, меня, несчастную, во многом обвинишь, унизишь мою красоту и повадки, которыми, вслед за восторженными хвалами моих товаров, прежде так восхищался; теперь же ее хвалить лишь будешь, и то, что сделала тебе я от полноты любви и сожаленья, сочтешь за происшедшее от буйной похоти.

Но не забудь среди выдумок сказать о твоём невыдуманном обмане, упомяни, как ты меня, несчастную, в слезах оставил, о почестях и уважении к тебе, чтоб сделать очевидною всем слушающим твою неблагодарность. Не премини сказать, какие и сколько юношей добивались моей любви различным способом, как украшали цветами мои двери, дрались по ночам, днем выказывали храбрость и никогда не могли меня отвлечь от твоей обманчивой любви; а ты, едва завидев незнакомую тебе девушку, уж изменил мне. Когда она не так проста, как я, поостережется твоих поцелуев, твоих обманов, как я их остережусь не сумела; пускай она с тобой поступит, как с Атреем поступила его возлюбленная, как дочери Дакая\* со своими мужьями, как с Агамемноном Клитемнестра или, по крайней мере, как я, подстрекаемая твоею злобой, поступила со своим мужем, не заслужившим такого оскорбления; чтоб привела тебя к такому состоянию, что у меня исторгло бы из глаз слезы, как ныне плачу над самой собою; и если боги имеют сострадание к несчастным, пусть это все скорей тебя постигнет!»

Кроме того, что подобные жалобные мысли меня преследовали не только этот день, но возвращались часто и

в последующие, кроме того, немалое волнение, выказанное вышеупомянутой девушкою, меня повергло в тягостные думы, и, по обыкновению, я так сама с собою рассуждала: «Увы, чего жалеть мне, Панфило, что ты далеко и принадлежишь другой женщине, когда, будь ты здесь, ты все равно не был бы моим? Злой юноша, на сколько частей делится твоя любовь или может делиться? Можно предположить, что таких, как я и эта девушка (теперь ты к ним присоединил еще третью), было у тебя много, а я считала, что я у тебя одна; и вышло, что, думая заботиться о своем счастье, я заботилась о чужом. Кто может знать, если это возможно знать, не просила ли у неба кто-нибудь более меня достойная милости божией, чтобы за обиду, за мои злые к ней поступки я получила эту тягостную скорбь, в которой пребываю? Но кто бы она ни была, если таковая есть, пусть простит мне, что согрешила я по неведению, и мое неведение мне будет оправданием, но ты как мог с таким искусством притворяться? С какою совестью ты это делал? Какая нежная любовь тебя толкала к этому? Я слышала не раз, что возможно только одну любить в одно и то же время, но, очевидно, не для тебя такое правило, ты многих любил или делал вид, что любишь.

Что ж, со всеми или только с нею, что не сумела скрыть то, что тобой скрывается так хорошо, ты связан такой же клятвой, обещаниями, как и со мной? Если так, ты можешь быть спокоен, как бы не связанный ни с кем, ибо то, что дается безразлично всем, никому не дается. Как может случиться, чтоб тот, кто столько покориł сердце, свое сохранил свободным? Нарцисс \*, любимый многими, ко всем суровый, влюбился наконец в свое отражение; Аталанта \*, быстрейшая беглянка, ко всем влюбленным строга была, пока, добровольно не поддавшись обману Гиппомена, не была побеждена. Но зачем прибегать к древним примерам? Я сама, никем раньше не побеждаемая, была покорена тобою; ты меж многих не мог пойти, кому бы сдать? Не верю, убеждена, что и ты был взят; а если так, то почему со всею силой та не вернет тебя к себе? И если ты ко мне прийти не хочешь, так возвращайся к той, что не сумела скрыть вашу любовь. Если ты хочешь, чтобы меня преследовало несчастье (может быть, ты считаешь, что я заслуживаю этого), то не отмыдай на других мои проступки, возвращайся хоть к ним, сохрани хоть клятву, данную, может быть, раньше, чем мне, и не

оскорбляй из желания досадить мне столько других, которых ты оставил здесь в надежде; что значит одна в сравнении со многими? Та принадлежит уже тебе, не может, при всем желании, не быть твоей, и так оставь ее надежной и поспеши сюда, чтобы своим присутствием сохранить тех, которые могут сделаться и не твоими».

После таких слов, пространных и напрасных, так как они не доходили ни до слуха богов, ни до ушей неблагодарного юноши, иногда я вдруг переменяла намерение и говорила: «Несчастливая, зачем ты хочешь, чтоб Панфило сюда вернулся? Ты думаешь, тебе легче будет вблизи переносить то, что, отдаленное, тебя так мучит? Своей гибели ты хочешь? Теперь ты сомневаешься, любит ли он тебя или нет, когда же он вернется, ты сможешь убедиться, что он вернется не для тебя. Издали он держит тебя в сомнении насчет своей любви, вблизи же сделает уверенной, что он тебя не любит. И тем будь довольна, что не одна страдаешь, утешься, как все несчастные, что есть у тебя товарки по несчастью».

Трудно, о жепщины, мне было бы передать, с каким пламенным гневом, горькими слезами, стеснением сердца я каждый день почти так размышляла, по как всякая тяжесть с течением времени смягчается, так и у меня, прошедшей много дней таким образом, скорбь не могла уже усиливаться и начала понемногу стихать. И, по мере того как она покидала мое сердце, туда возвращались горячая любовь и теплая надежда, и, пребывая там вместо печали, они заставляли меня менять желание и снова хотеть возвращения Панфило; и чем более преобладала надежда, тем сильнее становилось желание; как огонь от ветра усиливается в большое пламя, так любовь от противоречащих мыслей становится сильнее, и я раскаивалась в своих думах.

Разбирая слова, что в гневе я говорила, как будто мог меня он слышать, я стыдилась и упрекала порыв, что в первые мгновенья закрывает от глаз истину; по чем сильнее я воспалялась, тем холоднее делалась с течением времени и ясно видела, что дурно поступала; и, вновь обретши должное состояние духа, так говорила: «О неразумная, чего мятешься? Зачем гневашься без проверенной причины? Положим, то, что сказал купец, верно (а может быть, и нет), а именно, что он женился, — разве это так важно и неожиданно для тебя? Необходимо, чтобы в подобных случаях молодые люди слушались

родителей. Если его отец пожелал этого, то как же мог он послушаться? Ты должна знать, что не все, кто женятся или женаты, любят своих жен, как других женщин; необходимость иметь всегда жену парой производит быстрое разочарование, даже когда они сначала очень правятся, а ты не знаешь, как она ему поправилась. Панфило, может быть, против желанья женился на ней, любя еще тебя, и уже скучает с нею, а если она ему нравится, то скоро надост. Конечно, ты не можешь его обвинять в клятвенном преступничестве, потому что, вернись он в твою комнату, он бы исполнил свои обещания.

Помолись Богу, чтобы любовь, которая сильнее клятв и обещаний, побудила его снова вернуться. Кроме того, почему ты по смущению той девушки заключаешь что-то о нем? Разве мало юношей, влюбленных в тебя бесплодно, которые бы смутились, узнав, что ты принадлежишь Панфило? Возможно, что и его любят многие, которым неприятно слышать то, что и тебя огорчило, хотя и по другим причинам!»

Таким образом сама себя опровергая, я возвращалась почти к прежним надеждам, и там же, где кляла и хулила, молилась о противоположном.

Однако вернувшись ко мне таким образом надежда не имела силы развеселить меня, но я была вся в волнении и не знала, что делать. Прежние заботы исчезли; в порыве гнева я выбросила камешки, бывшие отметками дней, сожгла его письма и испортила много других вещей. Смотреть на небо мне больше не нравилось, так как прежде я была не уверена в его возвращении, теперь же твердо уверилась. Охота к рассказам прошла, да не было и времени в бессонные ночи, так как я проводила их то в плаче, то в думах, а когда случалось мне засыпать, то я все видела сны, то веселые, то очень печальные. Праздники и церкви мне надоели, и я, будто не зная, куда деваться, только изредка посещала их; мое лицо побледнело и наводило ужасы на весь дом и давало повод к различным толкам; и так, сама не зная в ожидании чего, была я печальна и грустна.

Обуреваемая сомнительными мыслями, не зная я целые дни, радоваться ли мне, печалиться ли, по наступлении ночи, удобнейшего времени для скорби, одна в своей комнате, сначала пролив слезы и предавшись размышлению, так я молилась Венере: «О высшая небесная красота, милосерднейшая богиня, святейшая Венера, чей об-

раз с начала моего горя пребывал в этих покоях, дай помощь мне в скорбях, молю тебя священной и несомненною любовью, что к Адопису ты питала, умерь мои горести; взгляни, как мучаюсь я из-за тебя; взгляни, сколь часто ужасный призрак смерти вставал уже передо мною; взгляни, заслужила ли моя незапятнанная верность то, что я переношу. Будучи молодой и ветреной, не знала я твоего оружия и подчинилась тебе, не говоря ни слова, по первому твоему желанию. Ты знаешь, сколько благ ты мне обещала, не отрицаю, что часть их я испытала; но если это горе, что ты мне даешь, считается за счастье, то пусть погибнут сейчас небо и земля и подчинятся, преобразовавшись, таким законам, по которым так выходило бы. Если же это — несчастье, как я его ощущаю, исполни, милая богиня, свое обещание, чтобы не могли сказать про божественные уста, что они, как человеческие, могут лгать.

Пошли своего сына с факелом и стрелами к моему Панфило, что от меня далече, и пусть (если, не види меня, тот охладел или к другой воспламенился) опять воспламенит его, как я пылаю, чтобы ничто его там больше не держало и я, укрепившись, не умерла под тяжестью скорбей. Прекраснейшая богиня, пусть мои слова дойдут до твоего слуха; если не хочешь снова вложить огня в Панфило, вынь из моего сердца свои стрелы, чтоб я, как он, могла без тягостных печалей жить».

После таких молитв, беспомощных, казалось бы, быть услышанными, однако какая-то надежда облегчала мое мученье, и снова я начинала шептать: «О Панфило, где ты теперь? Что делаешь? Плачешь ли бессонною ночью, как я, или тебя обнимает девушка, о которой я, к несчастью, слышала? Или просто, несколько не вспоминая обо мне, сладко спишь? Возможно ли, чтобы любовь двумя влюбленными по столь различным законам управляла, когда каждый так пламенно любит, как я, а может быть, и ты? Не знаю, но если так, какие темницы, какие цепи могли бы тебя удержать от возвращения ко мне? Что касается меня, я не знаю, что меня удержало бы, чтобы не прийти к тебе, разве мой пол, который, несомненно, во многих местах мешал бы мне и заставлял стыдиться. Все дела, что ты там нашел, должны уже кончиться, твой отец насытился тобою, его-то я считаю (боги знают, что я всегда молюсь о его смерти) причиной твоей задержки, во всяком случае, он отнял тебя от меня. Но, несомненно,

мои молитвы о его смерти только продолжают его жизнь, настолько боги мне неблагоприятны и не внимают моим мольбам. О, победи их силы своей любовью, если она такова, какова была, и приезжай! Подумай, я все ночи лежу одна, тогда как ты мог бы быть со мною, если б здесь находился, как это делал прежде! Увы, сколько ночей в протекшую зиму я провела, длиннейших, без тебя, дрожа на громадной постели! Увы, вспомни, сколько различных радостей от разных вещей мы получали; если вспомнишь, никто тебя уж не отнимет от меня. Эта вера больше всего заставляет меня не верить новости о твоей женитьбе, да если бы это было и так, я не боюсь, зная, что это тебя если и отнимет, то лишь на время. Итак, возвращайся! И если милые наслаждения не в силах вызвать тебя сюда, пусть вызовет желание спасти от жалкой смерти ту, что любит тебя больше всего на свете. Если бы ты сейчас приехал, я думаю, меня бы не узнал — так изменили меня страдания; конечно, то, что слезы взяли, быстро вернется от радости тебя видеть, и снова обращусь в прежнюю Фьяметту.

О, приди, приди, сердце зовет тебя! Не дай погибнуть моей юности, что готова к твоему наслаждению! Я не знаю, как обуздаю свою радость, когда ты вернешься, чтобы не всем она была очевидна; потому что я не без основания думаю, что наша любовь, так долго и усиленно скрываемая, никому не известна. Если бы ты был здесь, чтобы решить, нужно ли прибегать к одинаковым уловкам и при счастливых и при несчастных обстоятельствах. Если б ты уже приехал, то будь что будет — я на все сумею найти средство».

После чего, будто он мог слышать мои слова, я вскакивала и бежала к окну, обманчиво слыша то, чего не было слышно, а именно: будто в мою дверь он постучал, как обыкновенно. Если бы мои ухаживатели знали это, сколько раз они меня могли бы обмануть, да и обманули бы, если б кто-нибудь из них был хитер притвориться Панфило. Открыв окно и посмотрев на дверь, я своими глазами убеждалась в ошибке, моя напрасная радость сменялась смятенностью, как корабль носится бурей, когда мачта с парусами, сломанная ветром, рухнула в море; и, к обычным слезам вернувшись, печально плакала я, пытаясь успокоиться и нагнать сон на закрытые, еще влажные глаза, так говорила я: «О сон, отраднейший покой для всех, истинный мир душам, кого, как враг, бежит вся-

гая забота, приди ко мне и своим действием прогони на время беспокойство из моей груди! Что не приходишь ты, что тело в тяжком горе укрепляешь и для новых трудов готовишь? Ты всем даешь покой, дай же его и мне, которая в нем так нуждается; покинь глаза тех веселых молодых, что теперь в объятиях любовников предаются Венериной борьбе, лети к моим, ведь я одна, покинутая, сломленная горем, вздыхаю. О укротитель горести, лучшая часть человеческой жизни, утешь меня и сохрани, покуда Панфило своей прелестной беседой не усладит мой слух, такой жадный к ее слушанью, о томный брат жестокой смерти\*, мешающий правду с неправдою, слети к моим глазам! Ты усыпил сто Аргусовых глаз\*, желавших бодрствовать, усыпи же два моих, желающих тебя! О гавань жизни, покой света, товарищ ночи, ты одинаково желанно приходишь к высоким королям и к смиренным рабам, сойди в мою скорбную грудь и восстанови несколько мои силы! Сладчайший сон — человечество, страшящееся смерти, понуждает тебя приготовить его к долгой власти этой последней, — наполни меня своей силой и избави от болезненных волнений, бесполезно терзающих мою душу».

Случалось, что этот бог, более других жалостливый к моим мольбам, медлил исполнить их, но после продолжительного времени, неохотно, лениво приходил и молча, незаметно для меня, прокрадывался в мою усталую голову, которая, так нуждаясь в нем, охотно давала себя укутать.

Хотя сон и приходил, покой не возвращался, и думы слезные заменялись страшными сновидениями. Я думаю, ни одна фурия не оставалась в городе Дите, которая не появлялась передо мною неоднократно в различных устрашающих формах, грозя бедами, так что мой сон прерывался от их ужасающего вида, чему я бывала почти рада. Немного было ночей после злосчастного известия о его свадьбе, которые бы радовали во сне, как бывало, видениями моего Панфило, о чем немало печалилась я и печалюсь. О всем этом: о печали моих, слезах, конечно, не о причине их, стало известно моему милому мужу; видя, как я побледнела, прежде цветущая, как мои блестящие глаза запали и обведены синеваыми кругами, он не знал, чем себе все это объяснить; но, видя, что я потеряла аппетит и сон, спросил однажды, с чего бы это. Я ему отвечала: «Это от желудка; он что-то не в порядке,



вот я и похудела так безобразно». Он, искренне поверив моим словам, велел приготовить мне снадобья, которые я и употребляла для его успокоения, но не для пользы. Какие целебные средства для тела могут исцелить страстную душу? Думаю, что никакие: только изгнав страсть из души, можно ее вылечить. Одно лекарство могло бы мне помочь, но оно было слишком далеко.

Обманутый муж, видя, что лечение безуспешно почти, хотел разными способами разогнать мою меланхолию, вернуть потерянную веселость, более нежный ко мне, чем я этого заслуживала, но напрасно прилагал усилия. Иногда он обращался ко мне с такими словами: «Жена, как тебе известно, недалеко отсюда, у Фалернских гор между древними Кумами и Поццуоли, находятся очаровательные бухты на морском берегу, красивее и прелестнее которых по положению нет ничего в мире. Они окружены прекрасными горами, покрытыми разнообразными деревьями и виноградниками, в долинах в изобилии водятся звери для охоты, невдалеке широкая равнина, где можно охотиться на птиц; близко острова Питтакузские и Низида, богаты кроликами, и гробница великого Мизена\*, откуда идет путь в Плутоново царство; там прорицалище Кумской сивиллы\*, Авернское озеро, Театр (обычное место древних состязаний), купальни и Варварская гора, бесплодные усилия печестивого Нерона, — эти очень древние вещи представляют большой интерес для наших современников и служат немалой приманкой, чтобы совершить прогулку для их осмотра. Кроме всего этого, там находятся купанья, целительные от различных недугов, а чрезвычайно мягкий климат, особенно в это время года, побуждает посетить эти места. Там веселое времяпрепровождение и изысканное общество; мне хочется, чтобы ты со мной туда поехала ввиду твоего желудка и, как мне кажется, меланхолии, овладевшей твоею душою; там ты найдешь облегчение от обеих болезней, так что наше путешествие конечно, не будет бесполезным».

Слыша эти слова и опасаясь, как бы в наше отсутствие не вернулся мой дорогой возлюбленный, так что я могла бы его не увидеть, я долго медлила ответом, но потом, видя его желание и рассчитав, что, если тот приедет, я и оттуда узнаю об этом, отвечала, что готова исполнить его волю, и мы отправились.

О, насколько были противоположны моей скорби лекарства, которые предоставил мне мой супруг! Положим,

там внимательно относятся к телесным педомоганьям, по если кто туда приехал в здоровом разуме, то уедет без него, а не то что поправит расстроенный; близость ли к морю, месту рождения Венеры, время ли года, когда там обыкновенно собираются, то есть весна, располагающая к таким чувствам, но неудивительно, как мне неоднократно казалось, что там даже самые порядочные женщины, несколько забыв женскую стыдливость, вели себя в некоторых отношениях значительно свободнее, по-моему, чем где бы то ни было; не я одна так думаю, но почти все, даже привыкшие к местным правам. Там большую часть дня проводят в праздности, а если занимаются, то рассуждениями о любви или одни женщины между собою, или с молодыми людьми; пища самая изысканная, благороднейшие старые вина, способные в каждом не только пробудить уснувшую Венеру, но умершую воскресить; а сколько свойств имеют различные купанья, про то знает, кто их испытал; морской берег, прелестные сады, всегда всевозможные развлечения, новые игры, танцы, со всех сторон звучит музыка, молодые люди и дамы поют любовные песни. Попробуй кто в такой жизни противостоять Кундону, который, я думаю, с помощью всего этого в данном месте больше чем где бы то ни было распространяет свою власть.

И сюда-то, о жалостливые госпожи, мой супруг вздумал меня везти, чтобы исцелить от любовной лихорадки; как только мы туда приехали, не замедлил Амур на меня, как и на всех, простереть свою власть; и как не мог взять уже взятое сердце, то стал согревать его, и, усталое от долгой разлуки с Панфило, от слез и скорбей, оно вдруг разгорелось таким пламенем, каким, казалось, никогда еще не пылало. Не только вышеперечисленные причины тут действовали, но, без сомнения, любовь мою и печаль усиливало воспоминание о тех разгах, когда я бывала здесь с Панфило, которого теперь не видела. Не было ни горы, ни долины, где бы прежде я с ним и с другими не бывала, то расставляя сети и капканы зверям, то с собаками охотясь на них, вынимая их из сетей; не было ни островка, ни утеса, который бы мне не говорил: здесь я была с Панфило, там он мне то-то сказал, тут то-то делали. Так же ни на что другое я не могла взглянуть без того, чтобы, во-первых, не вспомнить о нем, во-вторых, не пожелать увидеть его здесь или в другом месте или вернуться вчерашний день.

По желанию супруга, я начала принимать участие в различных увеселениях. Иногда, поднявшись до рассвета, мы садились на лошадей и то с собаками, то с соколами, то и с теми и с другими отправлялись в окрестности, богатые дичью, то тенистым лесом, то открытым полем; вид обильной дичи всех радовал, только меня несколько печалил. И, видя прекрасный полет или замечательный бег, я шептала: «О Панфило, если бы ты был здесь, как прежде!» Увы, как часто, прежде без такой скуки принимая участие или любуясь, теперь при воспоминании, как бы побежденная скорбью, я все бросала. Сколько раз, помню, при этой мысли лук и стрелы падали у меня из рук. Ни одна из спутниц Дианы не могла искуснее меня управлять луком, расставлять сети и выпускать свору. И не раз, не два, а очень часто, охотясь с какой-нибудь подходящей птицей, я будто вне себя не выпускала ее, так что она сама уже слетала с моей руки, на что я, прежде весьма заботливая об этом, как бы не обращала внимания. Объездив все горы, доли и равнины, с обильной добычей я и мои спутники возвращались домой, где обыкновенно находили уже веселье и разные развлечения.

Иногда же, расположившись над морем у высоких скал, выбрав тенистое место, мы ставили на песок столы и большой компанией из дам и молодых людей там закусывали; вставши из-за столов, под музыку молодые люди затевали разные танцы, в которых и я иногда против воли принимала участие; но у меня не было особенного настроения, да и я была слишком слаба, чтобы танцевать долго, отчего я скоро уходила к разостланным коврам, где сидели некоторые из компаний, говоря про себя: «Где-то теперь Панфило?» Иногда, слушая музыку, нежные звуки которой входили в мою душу, полную мыслей о Панфило, я забывала праздник и тоску, потому что милые звуки будили заснувшие во мне любовные чувства и приводили на память счастливые дни, когда я в присутствии моего Панфило имела обыкновение играть не без искусства на разных инструментах; но, не видя здесь Панфило, готова я бывала разрыдаться, если бы это не было непристойно. Такое же действие оказывали на меня и песни, которых там немало пелось; если какая-нибудь напоминала мне горе, я слушала ее со всем вниманием, чтоб выучить и потом при чужих людях иметь возможность вылить свою тоску более открытым способом, осо-

бенно ту часть горя, которая совпадала бы с содержанием песни.

Когда же тапцы, много раз повторенные, утомляли молодых женщин, эти последние присаживались к нам, а молодые люди, толпясь около нас, образовывали как бы венок; и никогда я не могла этого видеть без того, чтобы не вспомнить, как я первый раз увидела Панфило, позади других стоявшего, и часто я поднимала на них глаза, будто снова надеясь увидеть меж ними Панфило. Смотря на них, я замечала, как некоторые пристально взирают на предмет своего желанья, и, будучи опытна в этом, наблюдала, кто любит, кто смеется, хвалила то того, то другого, часто думая, что мой здесь был бы краше всех, если б я поступала, как они, была бы свободна душою, как они свободны, только в шутку любя. Затем, осуждая себя за такие мысли, говорила: «Я более довольна (если можно быть довольной в несчастье), сохраняя верность». Снова обращая глаза свои и мысли к поведению влюбленных юношей, как бы почерная некоторое утешение в тех, которых примечала более пламенно влюбленными, хвалила их про себя и, долго наблюдая, так молча начинала думать: «Счастливы вы, не лишенные лицемерья любимых, как я этого лишенна! Увы, как часто прежде я поступала, как и вы! Пусть больше продлится ваше благополучие, чтобы я одна могла являть миру образец несчастья. Но если любовь (делая меня недовольною моим возлюбленным) сократит мои дни, пусть будет мне вечной печальной слава Дидоны».

Подумав так, я молча принималась наблюдать различные поступки разных влюбленных. Скольких я видела, которые, все осмотрев и не найдя своей дамы, меланхолично удалялись, ни во что почитая праздник; тогда в своей скорби для них я находила слабую улыбку, видя в них товарищей по несчастью и научившись узнавать страдания других по своим.

Так-то настраивали меня, дражайшие дамы, изысканные купанья, утомительные охоты и развлечения на морском берегу; мой супруг и доктора, видя мою бледность, постоянные вздохи, сон и аппетит невозвращающимися, сочли мой недуг неисцелимым, и, почти отчаявшись в моей жизни, мы вернулись в оставленный город, где наступившее время праздников готовило мне причины новых мук. Случалось неоднократно, что меня приглашали на свадьбы родственники, друзья или соседи, часто муж

меня принуждал идти на них, думая этим рассеять мою очевидную меланхолию. Нужно было опять выплывать оставленные уборы и причесывать волосы, бывало всеми сравниваемые с золотом, теперь же более походившие на пепел. И, живо вспоминая, что они ему больше всего во мне нравились, новой печалью волновалось мое взволнованное сердце; иногда, помню, я так забывалась, что служанки, будто из сна меня вызывая, возвращали к покинутому занятию, подымая уроненный гребень. Желая, по обычаю молодых женщин, посмотреть в зеркало надетые уборы и видя в нем себя ужасною, но помня, какой я была, я думала, что в зеркале не я, а какая-нибудь адская фурия, озиралась я вокруг в сомнении. Но раз я была одета (соответственно состоянию моего духа), я шла с другими на веселые празднества, веселые, говорю, для других, потому что я знала, как человек, от которого нет ничего скрытного, что с отъездом Панфило все может доставлять мне только печаль.

Прибыв на место, предназначенное для свадьбы, хотя разные в разных местах происходили, я всегда была одна и та же, то есть с притворным весельем на лице и с печалью в сердце, так что, что бы ни случилось грустного или радостного, от всего моя тоска только увеличивалась.

Когда меня с почетом принимали, я озиралась пылливо, не для того чтобы видеть роскошные убранства, но обманимая самое себя, что, может быть, увижу я Панфило, как в первый раз увидела его в подобном же месте; не видя его, уверившись в том, в чем была и без того вполне уверена, как бы побежденная, садилась я с другими, отвергая знаки почтения, так как не видела того, ради кого они мне были дороги. Когда бракосочетание бывало совершено и гости вставали из-за пиршественного стола и то под звуки пения, то под инструментальную музыку начинались разные танцы и весь свадебный покой звучал, я, чтобы не показаться гордой, из любезности несколько раз приняв участие в танцах, снова садилась предаваться новым думам.

Мне приходило на память, как торжественно было подобное этому празднество в мою честь, когда я, свободная, в простоте, беспечально смотрела на свое прославление; и, сравнивая то время с теперешним, видя, как разнятся они друг от друга, я испытывала сильное желание расплакаться, если бы это не было здесь неуместным. Во мне пробегали быстрые мысли при виде веселящихся дам и

кавалеров, что прежде в подобных случаях я искусно веселила Панфило, — и больше меня томил, что нет причины мне радоваться, чем само веселье. Поэтому, прислушиваясь к любовным разговорам, музыке и пению, вспоминая прошедшее, я вздыхала с притворным удовольствием, ждала окончания праздника, недовольная и усталая, предоставленная самой себе. Но часто, смотря на толпу дам и молодых людей, я замечала, что многие, если не все, смотрят на меня и тихою между собою говорят про мою внешность; по большая часть их шепота доходила до моих ушей, то потому, что я слышала, то потому, что догадывалась. Одни говорили: «Посмотри на эту молодую женщину! Прежде никто в нашем городе не превосходил ее красотою, а теперь какою она стала! Не находишь ли ты ее вид растерянным, какие бы ни были причины этого?»

Сказав это, смотрели на меня с сожалением, будто сострадавая моему горю, и проходили, оставляя меня более обычного расстроенною. Другие спрашивали друг у друга: «Что? Эта дама нездорова?» — и отвечали: «Кажется, что да: она сделалась такой худой и бледной; какая жалость, прежде она была красавицей». Некоторые, более точно зная мою болезнь, говорили: «Бледность этой госпожи выдает ее влюбленность, какая болезнь сушит так, как пламенная любовь? Конечно, она влюблена, и жесток тот, кто причиняет ей такую тоску, что так ее иссушила».

В таких случаях, признаюсь, я не могла удерживаться от вздохов, видя гораздо большее сострадание в других, нежели в том, кто, естественно, должен был бы его иметь; и смиренно про себя молилась за них богу. Мне помнится, что мое благородство имело такое значение для говоривших, что многие меня оправдывали такими словами: «Не дай бог, чтобы так думали об этой госпоже, то есть что любовь ее томит; она честна более других, ничего подобного за ней не замечалось, никогда в кругу влюбленных не было ничего слышно об ее любви, а страсть не скроешь так долго».

«Увы! — думала я про себя. — Как они ошибаются, не считая меня влюбленною только потому, что, как дура, не выставляю ее напоказ, как делают другие!»

Часто приходили туда знатные, красивые и нарядные молодые люди, прежде всячески добивавшиеся моего взгляда, чтобы привлечь меня к их желанию. Посмотрев на меня немного и видя такой обезображенной, может



быть, довольные, что я не отвечала им на любовь, удалялись со словами: «Пропала ее красота!»

Зачем я скрою от вас, женщины, то, что не только мне, но вообще никому неприятно слышать? Признаюсь, что, хотя Папфило, ради которого главным образом я дорожила своею красотой, здесь не было, однако не без укола в сердце я слышала, что она пропала. Еще мне случилось на таких праздниках сидеть в кругу женщин, ведущих любовные беседы; и, жадно прислушиваясь к рассказам о любви других, легко я поняла, что не было столь пламенной, столь скрытной, столь горестной, как моя; а более счастливых и менее почетных — большое количество. Так, то слушая и наблюдая, что делалось, задумчивой я пребывала среди вольного времяпрепровождения.

Когда через некоторое время, отдохнувши, сидевшие дамы поднимались, чтоб танцевать, иногда приглашая меня вместе с собою, они и молодые люди всей душой отдавались этому занятию, не имея в голове других мыслей, побуждаемые к танцам или пламенной Веперой, или желая показать свое искусство, а я почти одна оставалась сидеть, презрительно смотря на внешность и манеры дам. Случалось, конечно, что я их осуждала, желая страстно последовать их примеру, если бы это было возможно, если бы Папфило мой находился здесь, и всякий раз, как он приходил мне на память, печаль моя умножалась; видит Бог, он не заслуживал такой любви, какую я его любила и люблю.

Но долгое время со скукой смотря на танцы, от посторонних мыслей сделавшиеся мне неважными, будто чем беспокоясь, я удалялась от общества и под каким-либо предлогом уходила в уединенные места, желая подавить свою печаль; и там, дав волю искренним слезам, вознаграждала свои глаза за суетное зрелище. Слезы текли с гневными словами, и, сознавая свою несчастную судьбу, так, помнится, я к ней обращалась:

«О Судьба \*, враг страшный всех счастливых, несчастным единственная надежда! Ты премечаешь царства и видишь дела земные, возносишь и производишь своей десницей, как тебя учит твой бесстыдный суд; всецело никому не хочешь ты принадлежать, то здесь возвеличишь, то там подавишь и после счастья новые заботы даешь душе, чтоб смертные, пребывая в постоянной нужде, как им кажется, всегда тебе молились и поклонялись слепому божеству. Незрячая, глухая, ты отвергаешь мольбы несчастных, со



взысканными радуешься, смеясь и лстя, их крепко обнимаешь, пока они нежданым случаем не бывают тобою извергнуты, тогда в несчастье познают, что ты отвернула от них свое лицо. В числе таких несчастных нахожусь и я, не знаю, что сделала я против тебя, чтоб побудить тебя так меня преследовать. О, кто доверяет великим подвигам и имеет высшую власть и господство, взгляните на меня: из знатной женщины я сделалась ничтожнейшей рабою и хуже чем презренной и отверженною Богом. Если здраво посмотреть, нет более поучительного примера твоей изменчивости, о судьба! Ветреная Судьба, ты приняла меня в мир, осыпала благами, если, как я думаю, благородное происхождение и богатства суть блага; кроме того, я возросла в них, и никогда своей руки ты не отпимала. Всегда в избытке этими благами я обладала и, сообразно женской природе и сознанию их бренности, щедро ими пользовалась.

Но я влюбилась, еще не зная тебя подательницей людских страстей, не предполагая, что ты такую власть в любви имеешь; я полюбила юношу, которого не кто иной, как ты, послала мне тогда, когда в мыслях у меня не было влюбиться. Когда ты увидела, что неразрешимо сердце мне связала эта радость, ты, непостоянная, стремилась часто мне ее испортить, подстрекая пустыми обманами то наши души, то глаза выдать нашу любовь и тем ей повредить. Не раз по твоему желанию до моих ушей доходили бранные речи возлюбленного, а до его слуха мои такие же, ты думала этим возбудить ненависть; но в этом ты не достигла своей цели, так как хоть ты и богиня, и руководишь внешними событиями, но душевные добродетели тебе не подвластны, наше чувство всегда здесь тебя побеждало. Но что за прибыль сопротивляться тебе? У тебя тысяча путей нанести вред своим врагам; и где ты не можешь сделать этого прямым путем, ты можешь этого достигнуть окольным. Не будучи в состоянии породить между нас ненависть, ты ухитрилась сделать равнозначащее ей и, сверх того, скорбь и горе.

Твои козни, отраженные нашим чувством, нашли себе другую дорогу, и, равно враждебная ко мне и к нему, ты пошла случай разделить далеким расстоянием меня с моим милым. О, как я могла подумать, что с твоею помощью в местности, отдаленной от этой столькими горами, долинами, реками, морем, может возникнуть причина моих бедствий? Конечно, никак этого нельзя было

подумать; но хотя это так, и, разделенный со мною, не сомневаюсь, он меня любит, как я его, а я его люблю больше всего на свете. Но последствия неизменны, любим ли мы друг друга или ненавидим, и паше чувство ничего не значит перед твоим гошением. С ним вместе ты меня лишила всей радости, счастья и удовольствия, а также нарядов, праздников, убранства, веселого житья, оставила в замену печаль, жалобы и невыносимую тоску; но если бы я его не любила, ты бы не в силах была сделать эту перемену.

Если я в детстве провинилась перед тобою, ты могла бы меня простить за молодостью лет, но если теперь ты хочешь мстить мне, зачем не касаешься только подвластных тебе областей? В чужой ты хлеб с своей косою забрала! Что общего у тебя с любовными делами? От тебя я получила высокие прекрасные дома, обширные поля, скот и сокровища, почему не на эти предметы ты распростерла гнев свой, предав их огню, потопу, мору и хищению? Все это, откуда утешение ко мне прийти не может, ты мне оставила, как в басне Мидасу \* Вакхово благодеянье, а унесла с собой того, что был мне всего дороже.

А прокляты да будут любовные стрелы, что стремятся Фебу отмстить \*, а сами от тебя такое несправедливое поражение терпят. О, если бы тебя они поразили, как поразили меня, подумала бы ты, может быть, как обижать любовников! Но вот меня настигла ты и довела до того, что, богатая, благородная, могущественная, я сделалась несчастнейшей в своей земле, — ты это ясно видишь. Все празднуют и веселятся, одна я плачу; не сегодня это началось, но так давно, что твой гнев должен был бы уже смягчиться. Но все тебе прощу, если ты, милостивая, как прежде разлучила меня с Панфило, теперь опять с ним соединишь; а если твой гнев еще продолжается, излей его на мое имущество. Жестокая, сжался надо мною; смотри, я до того дошла, что стала притчей во языцех там, где прежде славили мою красу. Начни быть жалостной ко мне, чтобы я, обрадованная, что могу тебя хвалить, нежными словами прославила твою божественность; если ты кротко исполнишь мою просьбу, я обещаю (боги свидетели), я сделаю в твою честь изображение, украшу его, как только могу, и пожертвую в какой тебе любо храм. И все увидят подпись, гласящую: *«Это Фьямметта, из пучины бедствий Судьбою вознесенная на вершину блаженства»*.

Сколько еще я говорила, но долго и скучно было бы все рассказывать, но все слова быстро прерывались рыданиями; случалось, что женщины, услышав мои стенания, приходили и, подняв с утешениями, вели против воли снова к танцам.

Кто бы поверил, влюбленные дамы, что в груди молодой женщины так сильно может укорениться печаль, которую ничто не только не может развеять, но, наоборот, еще более все укрепляет? Разумеется, всем это покажется невероятным, кроме тех, кто по опыту знает, как это верно. Часто случалось в самую жару (какая стояла соответственно времени года) многие дамы и я, чтобы легче переносить зной, на легкой лодке со многими веслами рассекали морские волны с пением и музыкой и искали далеких скал или пещер, где было прохладно от тени и ветра. Увы, телесный жар они легко мне облегчали, но жар души — нисколько, и даже увеличивали, ибо, когда прекращался внешний зной, к которому, конечно, чувствительны нежные тела, тотчас открывался больший доступ любовным мыслям, которые, если хорошенько рассмотреть, без сомнения, служат не только для поддержания Венериного пламени, но и к его усилению.

Достигнув цели нашей прогулки и выбрав самые удобные места для наших желаний, мы видели компании дам и молодых людей здесь, там, так что все — малейшая скала, малейший уголок берега, защищенный тенью горы от солнечных лучей, — было наполнено нами. Какая радость для душ, не пораженных печалью! Во многих местах виднелись разостланные белоснежные скатерти, так хорошо уставленные, что один вид их возбуждал аппетит у тех, кто его лишен, в других местах уже виднелись весело завтракающие компании, которые радостными криками приглашали проходивших мимо принять участие в их веселье.

Напировавшись, как и другие, потанцевав, по обыкновению, после обеда, мы снова сажались на лодки и катались, иногда встречая зрелище, приятнейшее молодым взорам, а именно: прелестные девушки в одних легких шелковых сорочках, босые, с голыми руками, отдирали раковины от твердых камней, и при этом, наклоняясь, выказывали сокрытую дотеле прелесть роскошных своих груди; иные рыбачили сетями, а то другим каким приспособлением. Что пользы пересказывать все тамошние развлечения? Все равно не передашь. Пусть представит

себе сам их сообразительный человек, не будучи там, а если и будучи, то видя кругом только молодость и веселье. Там души делаются свободными и открытыми и едва могут отказывать в какой бы то ни было просьбе. Признаюсь, чтоб не расстраивать компанию, я там притворялась веселой, не забывая о своем горе; если кто испытал подобное положение, может засвидетельствовать, как тягостно это делать. И как могла бы я от души радоваться, вспоминая, что в подобных развлечениях видела я Панфило со мной ли, без меня ли, а теперь чувствовала его крайне далеким и не надеялась на его возврат? Даже если б у меня не было других забот, разве одной этой не достаточно было бы? И как я могла не думать об этом, раз пламенное желание снова его увидеть до такой степени лишало меня рассуждения, что, зная наверное, что его здесь нет, я думала, что, может быть, он здесь, и, как будто это было несомненно, все смотрела, не увижу ли его гдс. Не было ни одной лодки (из тех, что шныряли туда и сюда, так что поверхность моря казалась небом, чистым и ясным, усеянным звездами), на которую я бы, обернувшись, пристально не смотрела. Ни одного звука инструментов (на которых, я знала, он умел играть) я не пропускала мимо ушей без того, чтобы не прислушиваться, кто играет: не тот ли, воображая, может быть, кого искала я. Не пропускала ни одного места на берегу, ни одной скалы, ни пещеры, ни одной компании. Признаюсь, эта надежда, то пустая, то притворная, многие вздохи во мне порождала; когда же она улетала, они копились в моем мозгу, искали выхода и изливались потоком слез из скорбных глаз моих; так-то притворная радость в тоску непритворную обращалась.

Наш город, более обильный увеселениями, нежели другие итальянские города, не только развлекает своих граждан то свадьбами, то купаньями, то морскими берегами, но веселит их еще разнообразными играми; по блестящее всего предоставляются частые состязания в оружии. У нас старинный обычай: когда пройдет зимнее ненастье и весна снова заблистает цветами и свежей травой, побуждая юношеские сердца более чем всегда выказать свои желанья, сзывать по большим праздникам благородных дам в рыцарские ложи, куда они собираются, украшенные драгоценнейшими уборами. Не столь пышное и благородное зрелище было, когда снохи Приама и другие фригийские женщины украшенные являлись перед све-

кром на праздник, нежели вид пашего города, когда они собираются в театр (каждая украся себя, насколько могла); несомненно, каждому приезжму человеку покажется при виде их высокомерных манер, замечательных парядов, почти царских уборов, что это не современные женщины, но древние вернулись к жизни; ту по величию сочтет Семпрандой \*, другую по убору Клеопатрой \*, третью по прелести Елепой, другую, наконец, кто бы не принял за Дидону?

К чему сравнешья? Вы сами по себе скорей богини, чем земные жены. И я, несчастная, когда Пацфило еще не был потерян, часто слышала, как молодые люди меня сравнивали то с девою Поликсеной, то с Кипрейской Венерой \*, причем одни утверждали, что я подобна богине, другие говорили, что не похожа я на смертную женщину. Там в таком многочисленном и благородном обществе не сидят долго, не молчат, не шепчутся, но меж тем как старые люди смотрят, милые юпоши, взявши дам за нежные руки, танцую, громкими голосами ноют про свою любовь и таким образом весело проводят жаркую часть дня; когда же солнце смягчит лучи, приходят почетные лица нашего Авзонийского королевства в подобающих их положению одеждах; полюбовавшись некоторое время на красоту дам и на танцы, по данному приказу они удаляются почти со всеми молодыми людьми, господами и слугами и через короткий промежуток снова являются большим обществом совсем в другом наряде.

Где пайти достаточно блестящее красноречие, достаточно богатый язык, чтобы точно описать благородство и разнообразие одежд? Не мог этого сделать ни греческий Гомер, ни латинский Вергилий, описавшие в стихах столько битв греческих, троянских и италийских! Попытаюсь отчасти рассказать, чтобы дать хоть слабое понятие тем, кто этого сам не видел, и кстати будет это описание: тогда скорее поймется вся глубина моей печали, равной которой не испытывали женщины ни прежде, ни теперь, когда узнают, что даже все великолепие подобных развлечений не смогло ее прервать. Возвращаясь к рассказу, скажу, что наши почетные лица выезжали на конях, быстрейших не только всех остальных животных, но даже ветра, который они обогнали бы в беге; молодость, красота, очевидно, достоинства их делали песказанно приятными на взгляд. Они были одеты в пурпур и в индийские ткани, пестро затканые вперемежку с золотом, жемчугом

и драгоценными камнями; лошади же были в чепраках; белокурые кудри, локонами спадавшие на белоснежные плечи, сдерживались тонкими золотыми обручами или венками из свежей зелени; на левой руке легкий щит, в правой — копьё; и при звуках многочисленных труб один близ другого, с большой свитой, в таком убранстве они начинали перед дамами свои игры, где главная заслуга заключалась в том, чтобы проскакать верхом, не двигаясь телом, закрывшись щитом и опустив копьё концом как можно ближе к земле.

Меня, несчастную, часто звали на эти праздничные игры; я не могла присутствовать без большой тоски, так как при этом виде всегда я вспоминала, что мой Панфило всегда заседал между почтенных пожилых людей, доступ куда, несмотря на его молодость, давали ему его достоинства. Иногда он рассуждал в кругу старших, будто Даниил со священниками о Сусанне (а из них кто по власти походил на Сцеволу \*, другой по важности на Катона Цензора, либо Утического \*, кто по внешности на великого Помпея, другие, более могучие, на Сципиона Африканского \* или на Цинцинната \*, они, как и он, смотрели на бег, вспоминая свою юность, трепеща, ободряя то того, то другого, а Панфило подтверждал их слова, и я слышала, как говорили, что за его доблесть пожилые люди приняли его к себе.

Как отрадно мне было это слышать и за него, и за наших граждан! Он имел обыкновение сравнивать знатных юношей, выказывавших царственные души, того с Партенопеем Аркадским \*, выказавшим наибольшую доблесть в Фивской резне, куда тот послан был матерью еще в детстве, другого — с приятным Асканием \*, того с Вергилием, чему лучшим свидетельством были стихи, написанные юношей, кого с Деифобом \*, четвертого за красоту с Ганимедом. Переходя к более пожилым, которые следовали за первыми, не менее приятные сравнения придумывал. Рыжебородого с белокурыми волосами, спадающими на белые плечи, он сравнивал с Гераклом \*; украшенного тонким венком из зелени, одетого в узкий шелковый наряд, искусно вышитый, с плащом, с золотой пряжкой на правом плече, щитом покрывающего левый бок, несущего в правой руке легкое копьё, подобающее игре, паходил похожим на Гектора \*; того, кто следовал за предыдущим в подобном же украшенном наряде, с лицом не менее пламенным, закинув край плаща на плечо, искусно правя



лошадью левой рукою, сравнивал с новым Ахиллом \*. Следующего, который играл копьем, закинув щит за спину, а на белокурых волосах имел тонкую золотую сетку, полученную, может быть, от своей дамы, он сравнивал с Протесилаем \*; следующего, с веселой шапочкой на голове, смуглого, с большой бородой и диким видом, называл Пирром \*; того, кто был кроток видом, очень белокур и расчесан, более других украшен, он считал троянским Парисом, а может быть, Менелаем \*. Мне нет надобности продолжать свое перечисление; в длинном ряду он находил Агамемнона \*, Аякса \*, Улисса, Диомеда и всех достойных похвал героев греческих, фригийских и латинских. И эти уподобления он делал не голословно, но доказательствами подтверждал свои положения, из качеств названных лиц выводил правильность сравнения, так что столь же приятно было слушать его рассуждения, как и любоваться на тех самых, о которых он говорил.

Веселые ряды, проехав раза три, чтоб показаться зрителям, начинали свое состязание: поднявшись на стремянах, покрывшись щитами, опустив острия копий почти до земли, все одинаково, они неслись на конях быстрее ветра; крики зрителей, звуки труб и других инструментов побуждали их скакать все быстрее и энергичнее. И не раз они справедливо считались достойными похвалы в сердцах зрителей. Сколько я видела женщин в радости, у которых участвовали в состязании то муж, то возлюбленный, то близкий родственник! Даже посторонние веселились. Одна я печально взирала (хотя видела моего мужа и родственников), не видя Панфило и вспоминая, что он далеко. Не удивительно ли, госпожи, — что бы я ни видела, все меня печалило и ничто не могло развеселить? При таком зрелище не почувствовали бы радости даже души, томящиеся в преисподней? Конечно, думаю, почувствовали бы. Они, заслушавшись Орфеевой кифары \*, на время забывают муки, а я при звуках стольких инструментов, среди такого ликования не только позабыть, но слабое от скорби облегчение получить была не в силах.

И хоть иногда на подобных праздниках я скрывала под личиной свою печаль и удерживалась от вздохов, однако потом, ночью, одна оставшись, вознаграждала себя слезами, которые тем обильнее лила, чем больше днем скрывала вздохов; вспоминая о празднестве, видя их суетность, скорее вредную, нежели полезную, как я по опыту



отлично видела, иногда ушедши домой по окончании праздника, я справедливо нападала на светские условности, так говоря:

«Как счастлив тот \*, кто в уединенной усадьбе под открытым небом живет невинно! Кто думает только о капканах для диких зверей, о силках для глупых птичек; печаль не может поразить его душу, а телесную усталость он врачует отдыхом на свежей траве, переходя то на берег быстрого ручья, то в тень тенистой рощи, где заливаются нежными песнями жалостные пташки, а ветки, трепетно колеблемые легким ветром, как будто слушают их пение. Если бы, Судьба, мне суждена была подобная жизнь, мне, для которой твои желаемые всеми щедроты несут пагубное волнение! Увы, к чему мне высокие дворцы, богатые постели, многочисленная челядь, когда душа моя, исполненная тоски, летит в неведомую страну к Панфило и нет отдохновения усталым членам?»

О, что милее, что насладительнее, как бродить с спокойной и свободной душою вдоль бегущих речек и под кустами спать сном легким, что безмятежно навевают струящиеся волны сладким журчаньем? Такой сон, даруемый без спора бедным обитателям деревни, насколько желаннее сна горожан, которые, окруженные большими изысканными удобствами, то городскими заботами, то шумом беспокойным слуг бывают пробуждаемы. Если те ощущают голод, его удовлетворяют яблоки, сорванные в лесу, а молодая трава, сама собой растущая по небольшим холмам, в свою очередь представляет для них вкусную пищу. Для утоления жажды как сладко пригоршней зачерпнуть речной или ключевой воды! Несчастные заботы светских людей, для пропитания которых природа должна искать и готовить наиболее изысканные продукты! Мы думаем бесконечным множеством яств пользоваться для насыщения, не рассчитывая, что тайные свойства их служат скорее к разрушению, чем к сохранению нашего организма; делая для хитрых напитков золотые и драгоценные чаши, часто пьем холодный яд, а если не яд, то любовный напиток; и кто с излишней уверенностью этому предается, часто того постигает несчастная жизнь либо постыдная смерть. Часто же пьющие делаются хуже безумцев. Тому товарищами служат сатиры \*, фавны, дриады, наяды и нимфы, тот не ведает, что такое Венера и ее сын двоюродный \*, а если и знает, то полагает ее грубой и непривлекательной.

О, если бы была божья милость, чтобы и я никогда ее не знавала и встретила ее простою, находясь в простом обществе! Тогда далеко были бы от меня неизлечимые заботы, которыми томлюсь я, и душа моя, пребывая в святой неприкосновенности, небрегла бы светскими праздниками, что как ветер летящий, а созерцая их, не тосковала бы, как теперь. Сельский житель не заботится ни о высоких башнях, ни о домах, ни о челяди, ни о пежных пажах, ни о блестящих одеждах, ни о быстрых конях, ни о тысяче других вещей, на что уходит лучшая часть жизни. Не преследуемый злыми людьми, он спокойно живет в уединении; не ища сомнительных отдохновений в высоких палатах, находит их на воздухе и свете, всю жизнь свою проводя под открытым небом. О, как нынче мало знают и избегают подобной жизни, меж тем как к ней-то, как к наиболее драгоценной, и пужно бы стремиться. Я полагаю, что такова именно и была первоначальная жизнь, когда боги не покидали людей. О, нет лучше жизни, более свободной, более невинной, печелита, что вели первобытные люди и которую теперь ведут те, что, покинув города, живут в лесах! Как счастлив был бы мир, если бы Юпитер не низверг Сатурна и если бы золотой век еще царил непорочными законами! Тогда бы все мы жили, как в первом веке. Никто из следовавших первобытным уставам не был бы воспламенен слепым огнем болезненной любви, как то со мною случилось; никто из жителей горных склонов не подчинен ничьей власти, ни народу, что как ветер, ни неверной черни, ни губительной зависти, ни хрупкой милости Фортуны, которой слишком доверяясь, вот я теперь среди воды от жажды умираю. При скромной доле достигается глубокий покой, а при высокой немалых усилий стоит поддерживать существование. Кто стремится к высокому положению или желает стремиться, тот гоняется за призрачными почестями преходящих богатств; часто фальшивым людям правятся громкие имена; но кто живет свободным от страха и надежды, тот не знает неправедных укусов черной зависти; кто обитает в уединенном месте, тот не знает ни печависти, ни безнадежной любви, ни грехов городского населения, не сомневается, как искушенный человек, не хочет разносить ложных известий, чтобы уловить в их сети людей простодушных; другие же, хотя и стоят на высоте, всего боятся, даже пожара, что посят у собственного пояса.

Как хорошо ничему не противиться и, лежа на земле, безопасно собирать себе пищу! Редко, почти никогда, большие грехи посещают малые хижины. В том веке не было никакой заботы о золоте, никакие священные камни не разделяли одного поля от другого; смелые корабли не рассекали моря; каждый знал только свой берег, ни высокие частоколы, ни глубокие рвы, ни высокие стены не окружали тогдашних городов; не было изобретено ни смертоносного оружия, ни всаднических затей, ни стенобитных орудий; а если случалась небольшая распря, сражались голыми руками и брали в оружие древесные суки и камни. Не было еще тонких и мягких кизилковых копий с железным наконечником, ни острых пик, мечи не опоясывали никого, и косматые гребни не украшали блестящих шлемов; но что лучше всего, не был рожден еще Купидон, так что целомудренные груди, впоследствии пронзенные пернатым летуном, могли пребывать в покое.

Ах, если б дано мне было жить в те времена, когда люди, довольствуясь немногим, знали лишь спасительную страсть! Если бы из всех тогдашних благ мне было уступлено одно — не знать печальной любви и стольких вздохов, как теперь я знаю, то и тогда сочла бы я себя более счастливой, нежели живя в наше время, исполненное таких наслаждений, очарований и прелестей. Увы, как нечестивая алчность, безмерный гнев, дух, пораженный несносным сладострастием, нарушают первоначальные договоры природы с людьми, столь святые, столь удобопереносимые! Явилась жажда господства, грех кровавый, и меньший сделался добычей большего; явился Сарданапал \*, первый придавший Венере изысканные формы (хотя Семирамида ей придавала распущенные), а также Церере и Вакху; явился вопиющий Марс, нашедший тысячу искусных средств для убийства; вся земля была занята папа кровью, и море покраснело. Тогда, несомненно, во все дома вошли тягчайшие грехи, и вскоре ни одно преступление не осталось без примера; убит брат братом, сыном отец, отцом сын, муж убит по вине жены, нечестивые матери часто умерщвляют собственных детищ, не говорю о суровости мачех к пасынкам, что можно ежедневно наблюдать. И привели с собою богатство, скупость, гордость, роскошь и все другие грехи, — и с ними вместе вошла в мир водятельница всех зол, искусница в грехах — разнуздавшая любовь, через которую многие многолюдные

города пали \*, пожарница дымится и бескопечные кровавые ведутся войны. О, пусть будут обойдены молчанием другие, еще худшие ее действия и те, что сделали меня примером ее жестокости, столь сильно меня поразившей, что ни к чему другому я не могу направить мысли!»

Так рассуждая, иногда я думала, что содеянное мною — тяжело перед Господом; но страдаю, невыносимо тяжелые для меня, облегчили несколько мою скорбь, так как главной виновницей была не я, почти невинная, то и кара, понесенная за другого (хотя, я думаю, никому не доставалось такой тяжелой), как не я единственная и не первая терпела, придавала мне силу ее переносить; и часто я молила небо положить конец моим мученьям либо смертью, либо возвращением Папфило.

Вот какое утешенье, как видите, судьба дала мне в горькой жизни; не думайте, что это утешенье прогоняло печаль, как всякое другое; нет, оно только иногда прекращало слезы, переставая оказывать мне свои благодеяния. Продолжая рассказ о своих муках, скажу, что, прежде бывши прекраснейшей меж своих горожанок, я не пропускала ни одной праздничной службы, которая считалась не пышною, если меня не бывало; продолжать этот обычай меня уговаривали мои служанки и, приготовляя, по старой привычке, мне наряды, случалось, говорили: «Госпожа, оденься, настал престольный праздник, только тебя ждут для полного торжества».

Случалось, вспоминаю, что в бешенстве я к ним обращалась, как укушенный вепрь на свору собак, и отвечала резким и взволнованным голосом: «Прочь вы, отребье! Убрать эту мишуру! И жалкой веточки хватит, чтоб прикрыть безутешное тело, и если вам дорога моя милость, не заикаться о храмовых праздниках».

Часто, я слышала, эти храмы посещались больше, чтобы посмотреть на меня, чем из благочестия, и, не видя меня, знатные люди уходили недовольными, говоря, что без меня праздник не в праздник. Но, несмотря на мои отказы, иногда приходилось мне посещать храмы в обществе моих подруг, но тогда я одевалась просто, в будничное платье, и там избегала почетных мест, а становилась в толпу женщин и на скромные места; там, слушая то одну, то другую, со скрытою печалью, кое-как проводила время службы. Сколько раз слышала совсем близко от себя: «Что за чудо, как изменилась эта госпожа, редко украшение нашего города? Что за божественный дух на

нее пашел? Где пышные одежды? Где гордая осанка? Куда девалась дивная ее красота?»

Если бы можно было, ответила бы я на это: «Все это и драгоценнейшее еще унес Папфило с собою, уезжая».

Но, окруженная женщинами, я принуждена была с деланным лицом отвечать на их колкие расспросы; одна из них так ко мне обратилась: «Фьяметта, и я, и другие дамы, мы крайне изумляемся, не зная, что тебя заставило оставить драгоценные платья, дорогие уборы и прочие вещи, соответствующие твоей юности; такая молодая, как ты, не должна бы еще так одеваться; или ты думаешь, оставя их теперь, впоследствии опять к ним вернуться? Поступай сообразно возрасту. Почтенная одежда, что ты надела, от тебя не уйдет; ты видишь, мы и старше тебя, но искусно, парядно и пышно одеты; и ты должна была бы так же делать».

Ей и другим, ожидавшим моего ответа, я отвечала смиренным голосом: «Приходите ли вы в храм, милые мои дамы, чтобы правиться юношам или Господу Богу? Если затем, чтобы угодить Богу, ему достаточно души, украшенной добродетелями, а плоть хотя бы облачена была власяницею; а если сюда приходят, чтобы понравиться юношам, то, так как большинство, ослепленное ложною видимостью, по внешности судит, я признаюсь, что необходимы те украшения, что носите вы и я носила прежде. Но я об этом не пекусь и даже, сожалея о прежней суетности, хочу ее заглядить перед Господом, делаясь презренной в ваших глазах».

Тут насильно выжатые слезы, как искрепние, оросили мне печальное лицо, и про себя я начала шептать: «Господь сердцеведец, не вмени мне в грех неверные речи, ибо, как видишь ты, не для того, чтобы обмануть, а чтобы скрыть свои мученья, я принуждена была их сказать, скорей поставь мне это в заслугу, что я твоим созданьям подаю не дурной пример, но хороший; мне очень трудно лгать, я с трудом это переносу, но я больше не в силах».

Сколько раз, любезные мои дамы, окружавшие меня женщины от этого обмана проливали слезы, говоря, что вот я из пустейшей сделалась святою! Часто я слышала такое мнение, что я так взыскана Господом Богом, что ни в одной моей просьбе не может быть отказано пебом; и благочестивые люди меня посещали, как святую, не зная, какой печальный лик скрываю я и как мои желанья расходятся со словами. Обманчивый свет, пасколько больше

значат для тебя притворные лица, чем справедливые души, когда дела неизвестны! Я, грешница из грешниц, скорбящая о пагубной любви, считалась святою лишь потому, что скрывала скорбь свою почтенными словами; но, видит Бог, если бы не было опасности, я тотчас бы открыла глаза обманутым и объявила бы пастоящую причину своей печали, но это было невозможно.

После того как я ответила на первый вопрос, другая соседка, видя, что я перестала плакать, спросила: «Фьямметта, куда девалась прелестная твоя красота? Где прекрасный цвет лица? Отчего ты так бледна? Почему твои глаза, прежде что утренние звезды, теперь так впали и окаймлены синими кругами? Отчего золотистые косы, прежде мастерски уложенные, теперь едва заплетены небрежно? Скажи, ты так всех удивляешь».

На это ей я коротко ответила: «Очевидно, что земная красота — хрупкий цветок, увядает со дня на день; кто ей доверится — увидит ее погибшей. Кто мне ее дал, вложивши тайное желанье отречься от нее, как взял ее, так может и вернуться, когда ему угодно».

После этих слов, не в силах будучи сдерживать слез, закрылась я покрывалом и горько заплакала; и так про себя я сетовала: «О красота, непрочный дар, скоропреходящий, скорей приходишь и уходишь, нежели весенние цветы и листья цветут под благостью Овна\*, а летний зной постанет — и увянут; который же сберегся летом, того осень не пощадит. Так ты, о красота, часто в цветущих днях случайно погибнешь, а если юность пощадит тебя, то зрелый возраст уж не защитит! Ты, красота, текуча, как воды, что никогда не возвращаются к своим источникам, и не разумен тот, кто полагается на столь хрупкий дар. Как я, несчастная, тебя любила, тобою дорожила, тебя холила! Теперь заслуженно тебя я проклиная. Ты первая причина моей гибели, ты завладела душою моего возлюбленного, а удержать его была не в силах или вернуть его назад, когда он уехал. Не было бы тебя, я бы не приглянулась Пацфило; а не приглянулась бы я ему, он бы не старался мне поправиться; а не поправился бы он мне, как нравится теперь, я бы не мучилась. Итак, в тебе причина и корень всех моих бед. Блаженны те, что лишены тебя, хотя бы их упрекали в грубости! Они храпят святые законы целомудрия и могут жить без ран, свободными от власти Амура-деспота; ты причиняешь нам непрерывное опустошение, заставляя нарушать



то, что мы должны были бы блюсти как драгоценность. Блаженный Спуринна \*, достойный вечной славы, который, зная твои последствия, в цветущей юности своею собственною жестокою рукою от тебя избавился, выбрав лучше добродетелью привлечь к себе сердца мудрых, чем желанною красою покорять сладострастных дев. О, отчего я не поступила так же? Далекими были бы от меня печали, скорби, слезы, и жизнь могла бы оставаться по-прежнему достойной похвалы».

Тут снова приступили ко мне женщины, упрекая за чрезмерные слезы: «Фьямметта, что с тобою? Или ты отчаиваешься в милосердии Божьем? Ты думаешь, что он не простит твоих маленьких грехов без подобных рыданий? Так ты скорей добьешься смерти, чем прощенья. Встань, утри глаза, сейчас будет вознесенье даров верховному владыке Юпитеру нашими жрецами».

От их слов я удерживала слезы, поднимала голову, но не оборачивала ее, как прежде, твердо зная, что моего Пауфило здесь нет, не обращая внимания, смотрит ли на меня кто или нет и что обо мне думают соседи; но, погрузив свой дух в мысли о том, кто для спасенья мира продал себя, молплась жалобно за моего Пауфило и за его возвращение, так говоря: «Ты, высший управитель неба, судья всего мира, положи предел моим тяжким мукам и прекрати мои горести. Взгляни, ни дня не проведу я в покое; всегда конец одного бедствия служит для меня началом другого. Меня, которая бессознательно оскорбила тебя, украшаясь в юности более чем было нужно, и считала себя уже счастливой, не зная будущих бедствий, ты наказал, подчинив неразрушимой любви, и такое горе все наполняешь повыми заботами; наконец, разлученная с тем, кого люблю больше всего, я подвергаю свою жизнь бесконечным опасностям. О, если когда-нибудь внемлешь ты несчастным, склони свой дух, милостивый слух к моим мольбам и, невзирая на многие против тебя проступки, вспомни, кроткий, то темное добро, что я когда-нибудь делала, и ради него услышь мои просьбы и молитвы; тебе это нетрудно, а мне будет большая радость. Я ничего не прошу, ничего не ищущу, как только чтобы мой Пауфило ко мне вернулся. Я знаю, что перед тобою, справедливым судьею, эта молитва покажется несправедливою!

Но и твоя праведность должна предпочесть меньшее зло большему. Ты, кому все открыто, знаешь, что никак не может выйти у меня из сердца милый возлюбленный



и прошлое счастье, память об этом такую боль мне причиняет, что, если бы не надежда на тебя, не покидавшая меня, давно я паложила бы на себя руки.

Итак, если меньше зла обладать моим возлюбленным, как я им прежде обладала, чем погубить вместе с телом печальную душу, то верни его, отдай его мне! Пусть тебе дороже будут грешники живые, еще могущие познать, чем мертвые без надежды на искупление; пусть угоднее тебе будет потерять часть твоего создания, чем целником! Если это невозможно исполнить, пошли последний конец всем скорбям раньше, чем я, понуждаемая горькой мукой, не решусь самовольно прийти к нему. Пусть летят к тебе мольбы мои, если же они не могут тронуть тебя, пусть тронут того из небожителей, кто на земле испытал, как я, любовный пламень; примите мои мольбы и за меня принесите их тому, кто от меня их не принимает, чтобы в радости могла я жить здесь на земле сначала, потом у вас и чтобы было ясно, что пристало грешникам грешнику прощать и помогать».

Заспм я возложила на алтарь ладан душистый и жертвы, чтобы действительней были мои мольбы о спасении Панфило, и по окончании богослужения с другими женщинами направилась к своему печальному дому.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой Фьямметта повествует, как, узнавши, что Панфило не женился, по полюбил другую даму, она пришла в отчаянье и хотела наложить на себя руки

Как вы могли понять из вышесказанного, жалостливые дамы, жизнь моя находилась в любовном борежье или даже еще в худшем состоянии; если здраво рассудить, то в сравнении с тем, что мне предстояло вынести, это положение могло бы назваться даже счастливым. Я медлила и растягивала описание событий менее тягостных, боясь даже вспомнить, куда завела меня любовь, я старалась отсрочить рассказ, зная, что при этом я впаду в ярость, и стыдясь неистовства; но теперь нельзя уже избежать этого; итак, я приступаю, не без страха, к продолжению истории. Но ты, святейшая жалость, живущая в нежной груди томных девиц, крепче, чем до сих пор, патяни повода, чтобы, злоупотребляя и предаваясь тебе более чем

нужно, они не поступали обратно моим плачам и не расплакались моими слезами.

Уже второй раз солнце достигло той части неба \*, где некогда обжегся его заносчивый сын, неудачно направив колесницу, с тех пор как Панфило от меня уехал; я, несчастная, от времени уже привыкла переносить свое горе, более кротко терпела и думала, что не могут бедствия так долго продолжаться, как продолжают мои, когда судьба, недовольная моею гибелью, захотела мне показать, что еще горчайшая отравка ею для меня припасена. Случилось, что из Панфилова города вернулся в наш дом один из любимых слуг; все радовались его приезду, я же больше всех. Рассказывая, что он видел и свои приключения, счастливые и несчастные, он случайно упомянул и о Панфило; мне было приятно слышать, как он того хвалил, вспоминая о любезном приеме, так что я едва удержалась, чтобы не расцеловать слугу и не расспросить его вволю о Панфило; однако я сдержалась и, подождав, когда он ответит на расспросы других, спросила в одиночку с веселым видом: «Что же Панфило делает, не думает возвращаться?» На что он мне ответил так: «Сударыня, да зачем Панфило возвращаться? Самая красивая дама в его городе, где вообще очень много красивых жепщиц, его любит без ума, как я слышал, да и он се, наверное, любит, он ведь никогда не был дураком».

При этих словах сердце у меня дрогнуло, как у Энопы \*, когда она с Иды увидела, что се возлюбленный везет гречанку на трояпском корабле; однако я сдержалась и с притворным смехом продолжала: «Конечно, ты прав; здесь по его вкусу не нашлось бы дамы; и раз он там себе нашел такую, умно поступает, что при ней там и живет. Но как же на это смотрит его молодая жена?»

На что он ответил:

«У него никакой жены и нет; а что болтали про свадьбу в доме, так это его отец женился, а не он».

Услышав это, я из одного мученья попала в другое, большее, и, обуреваемая гневом и скорбью, я слышала, как у меня забилося сердце, что крылья быстрой Прокпы, когда они при лете быстром по белым бьют бокам; и боязливый дух во мне затрепетал, как море, когда ветер нагонит мелкую рябь, или как гибкий камыш, колеблемый легким ветром; почувствовала я, что силы покидают меня; потому я поспешила удалиться под приличным предлогом в свою горницу.

Итак, уединившись от всех, едва достигла я своего покоя, как из глаз моих полились слезы, будто переполненные ручьи по влажным долинам, я едва удерживалась от громких воплей, и на несчастное ложе, свидетеля нашей любви, как бы говоря Панфило: «Зачем ты изменил мне?» — я бросилась или, вернее сказать, упала навзничь; рыдающа прервали мои слова, язык и все члены лишились сил, и так лежала долго, так что меня можно было счесть мертвою, ничто не в состоянии было вернуть блуждающую жизнь в ее телесное обиталище.

Но после того как бедная душа немного укрепилась в тоскующем теле и силы вновь собрала, к моим глазам опять вернулось зрение; подняв голову, я увидела вокруг себя много жещин, которые хлопотали, плача, и всю меня поливали дорогими эликсирами; около себя я увидела разные предметы различного предназначения; я очень удивилась всему этому и, как дар слова ко мне вернулся, спросила окружавших о причине их горести; одна из них мне отвечала: «Мы все это принесли, чтобы привести тебя в чувство».

Тогда, глубоко вздохнув, устало я заговорила: «Увы, из жалости вы поступили самым жестоким образом! Вы оказали мне плохую услугу, думая мне помочь; вы силой задержали душу, готовую покинуть это жалкое тело. Никто так страстно не стремился, как я, к тому, в чем вы мне отказали; уже покидая мир волнений, близка была я к цели, а вы помешали мне».

В ответ на мои слова женщины стали меня утешать разными способами, но вот ушла одна, другая, и все удалились после того, как я приняла почти веселый вид; я осталась одна с моей старой кормилицей и со служанкой, посвященной в мою гибельную тайну; обе они старались исцелить мою истинную болезнь верными средствами, если она не была бы неизлечимою; но я, думая только об услышанном известии, вдруг воспылала гневом против той неизвестной мне женщины и тяжелую думу стала думать, и скорбь, что я не могла внутри утаить, так прорывалась из печальной груди неистовыми словами:

«Несправедливый юноша! Безжалостный! Ты хуже всех, Панфило: забыл меня и живешь с другою. Будь проклят день, когда тебя увидела впервые, и час, и мгновение, когда ты мне поправился! Будь проклята богиня, что мне являлась и совратила против воли с истинного пути, когда противилась я любви к тебе! Не верю я, что

то была Венера, ист, в образе ее меня посетила адская фурия и послала на меня безумие, как некогда на несчастного Атаманта \*. Жестокий юноша, на горе себе тебя и одного избрала среди многих знатных, прекрасных и достойных! Где теперь твои мольбы, которые ты, плача, обращал ко мне, и жизнь, и смерть твою отдавал в мои руки? Где те очи, что плакали, несчастный, где показываемая мне любовь? Где нежные слова? Где готовность на тяжкую печаль, что ты мне предлагал в услуги? Исчезло это все из памяти твоей? Или ты снова ими воспользовался, чтобы завлечь новую женщину?

А, будь проклята моя жалость, что даровала тебе жизнь с тем, чтобы ты радовал другую, меня же обрекал темной смерти! Теперь глаза, что плакали при мне, другой смеются и востроенное сердце к другой уж обращает сладкие речи. О Панфило, где те боги, клятву которым ты нарушил? Где обещанья верности? Где бесконечные слезы, которые я горестно впивала, считая жалостными их, в то время как они были исполнены притворства? Все это ты отнял у меня с собою вместе и передал другой.

Как было мне тяжело слышать, что ты законом Юноны связал себя с другой женщиной, вступив с нею в брак! Но, зная, что обязательства, данные тобою мне, имеют преимущество над теми, хотя и горевала, но легче перенесла я эту обиду. Теперь же невыносимую терплю я муку, узнав, что теми же узами, что был со мною связан, соединился ты с другою! Теперь мне ясно, почему ты медлишь, а также как я была простодушна, веря, что ты вернешься, как только будешь иметь возможность сделать это. Разве, Панфило, так много нужно хитрости, чтобы обмануть меня? Зачем великие клятвы ты мне давал, если задумал так обмануть меня? Зачем ты не уехал, не прощаясь и не обещая вернуться? Я, ты знаешь, крепко тебя любила, но не держала тебя в заточенье, так что ты мог уехать без слезных токов. Поступи ты так, конечно, я была бы в отчаянье, вдруг узнав твое коварство, но теперь смерть или забвенье прекратили бы уже мои мученья; но ты хотел, чтобы они продлились, питая их пустой надеждой; этого я не заслужила.

Как сладки были мне твои слезы, по теперь, как я узнала цену им, они горьки мне стали. Если тобою так же сильно правит любовь, как мною, то почему тебе мало было один раз быть пойманым, а захотелось второй раз попасться? Что говорю? Ты никогда не любил, а только

забавлялся! Если бы ты любил, как я думала, ты был бы еще моим. Кому бы мог ты принадлежать, кто бы любил, как я? Кто бы ни была ты, женщина, отнявшая его у меня, хотя ты враг мой, но, зная свое мученье, я поневоле сожалею о тебе; берегись его обманов, ведь кто раз обманул, уже теряет совесть и не стыдится и впредь обманывать. Несправедливый юноша, сколько молитв и жертв я приносила богам, чтоб сохранить тебя, и вот ты отнят у меня и передан другой!

О боги, вы вняли моим мольбам, но в пользу другой женщины; мне скорбь на долю, другим же — счастье! Погодный, разве я тебе не нравилась или не подходила по благородству? Поистине, превосходила. Разве я тебе отказывала в деньгах или брала твои? Нет. Был ли другой юноша, кроме тебя, так мною любим на деле или по виду? Я в этом не призналась бы, если бы измена не отвлекла тебя от истинной любви. Итак, какой проступок с моей стороны, какая причина, какая большая краса или сильнейшая любовь от меня тебя отняли и отдали другой? Ничто, свидетели мне боги, что против тебя я ничего не делала, кроме того, что безмерно любила. Суди сам, заслуживает ли эта вина измены.

О боги, мстители праведные преступлений, взываю о правой руке, не смерти я его ищю, хоть он моей желает, одно лишь наказанье прошу ему: если ту женщину он любит, как я его, да возьмется она от него и дастся другому, как он от меня отнят, и пусть он тогда познает жизнь, какою я живу!»

Так, корчась в беспорядочных судорогах, я каталась по постели.

Весь этот день прошел в подобных криках, но когда настала ночь, всегда тяжелейшая для печали (поскольку мрак ее более соответствует грусти, чем дневной свет), случилось, что, лежа рядом с супругом на кровати, я долго не спала и беспрестанно в уме перебирала все прошлое, веселое и печальное; когда же вспомнила, что любовь Панфила для меня потеряна, печаль моя так усилилась, что я жалобно застонала, тщательно тая любовную причину этих стонов. И я зарыдала так громко, что муж мой, уже давно спавший крепким сном, проснулся и, видя, что я заливаюсь слезами, обнял меня и спросил кротким и сострадательным голосом: «Душа моя, что заставляет тебя среди ночи так рыдать? Отчего уже столько времени ты грустишь и печалишься? Если тебе

что не нравится, откройся; разве я не исполняю, насколько могу, малейшее твоё желание? Разве ты — не единственное мое благо и утешение? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя больше всего на свете? Очень много может тебя убедить в этом. Итак, зачем плакать? Зачем томиться печалью? Или ты меня считаешь не парой себе по возрасту и благородству? Или я в чем-нибудь виноват, что можно исправить? Скажи, поведай, открой свое желание: я все исполню, что в моих силах. Мне омрачает жизнь, что ты так изменилась в лице, переменяла привычки, скучаешь, но теперь это мне очевиднее, чем когда бы то ни было. Сначала я думал, что какой-нибудь телесный недуг сделал тебя бледною, но теперь мне ясно, что душевная тоска довела до такого состояния; почему прошу тебя, открой мне, что за причина всего этого».

Решивши с жепской сообразительностью сказать неправду, в чем раньше вовсе не была я так искусна, я промолвила: «Дражайший супруг мой, я ни в чем не нуждаюсь, чего бы ты мне мог достать, я знаю, что ты несравненно достойнее меня, единственная причина моей прошлой и теперешней грусти — это смерть моего брата, о которой тебе известно. Как только о ней я вспомню, так и зальюсь слезами, и не столько о его смерти я плачу, ведь все мы должны умереть, сколько с горем, как он умер; ты знаешь сам: несчастно и постыдно; после него все пошло так плохо, об этом тоже я горюю. Лишь закрою глаза или задремлю, как он является мне, бледный, мертвенный, окровавленный, и показывает на глубокие раны; и вот теперь, когда ты услышал мои рыдания, он снова мне приснился: в ужасном виде, утомленный, испуганный, задыхающийся, едва могущий произнести слово; но наконец с большими усилиями он мне сказал: «Сестра дорогая, сними с меня позор, что заставляет меня печально бродить меж прочих душ, склоняясь смущенной головой на землю». Хотя мне было утешительно его видеть, однако вид его и слова возбудили во мне такую жалость, что я вздрогнула и проснулась, и тотчас, дань сострадания, полились слезы, которые теперь ты утешаешь; клянусь богами, если б мне прилично было бы обращаться с оружием, я бы отомстила за брата и дала бы ему возможность вернуться с поднятым челом к тениям, по это не в моей власти. Вот, дорогой супруг, не без причины я печалюсь».

Сколько сострадательных слов сказал мне мой муж, желая уврачевать рану, давно уже зажившую, и стараясь удержать меня от слез доводами настоящими, но которые оказывались фиктивными. Подумав, что я уже утешилась, он снова заснул, а я, думая о его доброте, еще с большею тоскою, молча плача, продолжала прерванные гореванья: «Дикие щещеры, населенные свирепыми зверями! Преисподняя, вечная темница, уготованная для грешных душ! Какое-либо другое, еще более скрытое место изгнания, прими меня для заслуженного наказания! Верховный Юпитер, справедливо па меня разгневаный, скорей ударь и брось в меня свои перуны! Священная Юнона, чьи святейшие законы я преступно нарушила, отомсти мне; скалы Каспийские, раздерите мое печальное тело; птицы быстрые, звери лютые, терзайте меня! Бешеные кони, разорвавшие невинного Ипполита \*, меня, виновную, разорвите; сострадательный супруг, пронзи меня своим мечом, пролей кровь, убей душу, так обманувшую тебя! Пусть не пробудится ко мне ни жалость, ни состраданье, ко мне, что супружескому ложу предпочла любовь чужого юноши. Преступная женщина, достойная еще и не таких наказаний, какой злой дух ослепил тебя, когда впервые ты увидела Панфило? Куда девала ты уважение к святому браку? Куда бежало целомудрие, украшение жен, когда ты мужа покинула для Панфило? Где же теперь жалость твоего возлюбленного к тебе? Где утешения, что можно было бы ждать от него в твоих несчастьях? В объятиях другой женщины он весело проводит быстролетное время и не заботится о тебе; и по заслугам так поступают с тобою и со всеми, кто сладострастью выше ставит законной любви. Твой муж, который должен был бы тебя оскорблять, утешает тебя, а тот, кто должен был бы утешать тебя, тебя оскорбляет.

Разве твой муж хуже Панфило? Конечно, нет. Разве по добродетели, по благородству, по всем своим достоинствам он не значительно выше Панфило? Кто же в этом сомневается? Итак, зачем же ты второго предпочла? Какая слепота, небрежность и несправедливость тобою водили при этом выборе? Увы, сама не знаю! Одно лишь, что предметы, которыми мы свободно владеем, будь они драгоценны, нами почитаются ничтожными; а те, что с трудом достаются, будь они ничтожнейшие, считаются драгоценными. Я ошиблась, недостаточно ценя достоинства моего мужа, и горько плачу о том, что, может быть,



будучи в состоянии противиться искушению, я не сделала этого, и даже наверное могла бы я это сделать, обрати и внимание на то, что боги во сне и наяву мне являли ночью и утром перед моим падешем.

Теперь-то, когда я от любви, как ни желаю, избавиться не могу, я понимаю, что за змея меня ужалила в левый бок и уползла, моей напившись крови, и также понимаю, что должен был знаменовать венки, упавший с моей головы; но поздно приходит истолкование знамений. Может быть, боги, решив излить свой гнев на меня, раскаялись, что послали мне знаменья, но, не имея возможности взять их обратно, сокрыли от меня их смысл, как Аполлон, что дал Кассандре\* силу прорицания, по им никто не верил; так я, не без причины обремененная бедствиями, влачу свое существование».

Так, то жалуясь и ворочаясь с боку на бок, на постели всю ночь я провела, не засыпая; если слегка и забывалась, то сон был так чуток, что от малейшего шороха я просыпалась, и слабый-то, он приходил ко мне с большим трудом; и так случалось не только в вышеупомянутую ночь, но и потом несколько раз, почти всегда; потому одинаковую бурю пережила моя душа и во сне, и наяву. Днем не прекращались мои боренья, так как, выдумав в ту ночь для мужа причины моей печали, я приобрела как бы право горевать открыто. С наступлением утра верная кормилица, от которой ничего не было скрыто (тем более что она первая не только по лицу узнала мою любовь, но даже предвидела и ее последствия), присутствуя при том, как я узнала о измене Панфило, заботясь и беспокоясь обо мне, как только мой муж ушел из комнаты, тотчас ко мне явилась; и, видя меня еще лежащей, полуживой от проведенной ночи, она различными словами пыталась смягчить мои мученья, обняла меня дрожащей рукою, гладила печальное лицо и говорила: «Детка, как горьки мне твои мученья, а были бы еще горше, если бы я тебя не предупреждала; но ты ведь, упрямая дурочка, не послушала моих советов, по-своему захотела делать, теперь сама видишь, что из этого вышло. Но пока жив человек, всегда он может, если только хочет, сойти с дурного пути и вернуться на добрый; мне было бы отрадно, если бы просветлели твои глаза, затемненные этим тираном неспособным, и могли взглянуть правильно. Ты видишь, что сладость любви кратковременна, печаль же долговечна. Ты — молодая женщина, своевольная, перас-

судительная, полюбила и, чего в любви достигнуть можно, достигла; но как любовная услада коротка, нельзя же требовать всегда того, что раз имел. Если, скажем, твой Панфило вернулся бы в твои объятия, радости большой ты бы не получила.

Страстно желать можно только чего-нибудь нового, где неизвестно, что таится и таится ли что, такие желанья трудно переносить, но вещей известных нужно желать хладнокровнее, а ты же поступаешь наоборот, исполненная беспорядочных стремлений и готовая погибнуть. Осмотрительные люди, зайдя в опасные и трудные места, обыкновенно возвращаются назад, предпочитая отдохнуть от того пути, что сделали до данного места, и вернуться целыми, чем идти вперед и подвергать свою жизнь опасности. Последуй, если можешь, и ты такому примеру, успокойся, рассуди и умненько сама избеги опасностей и мук, в которые так глупо ты попала. Если посмотреть здраво, благосклонная к тебе судьба вовсе не закрыла и не загородила тебе правильной дороги, так как ты отлично можешь по своим же собственным следам вернуться туда, откуда пришла, и сделаться прежней Фьяметтой. Доброе имя твое цело и не запятнано в глазах людей; когда оно теряется, многие впадают в пучину бедствий. Не ходи дальше, чтобы не потерять того, что судьба тебе сохранила; ободрись и думай, что ты Панфило никогда и не видала или что твой муж — Панфило. Фантазия на все способна, а воображением можно управлять по своему усмотрению. Только таким путем ты можешь быть счастливою, и это ты должна желать, если только твои мученья так невыносимы, как ты доказываешь словами и поведением».

Такие и подобные речи неоднократно я выслушивала, ничего не отвечая, и, несмотря на свое волнение, я находила их справедливыми, но дух, плохо к тому расположенный, еще без пользы их принимал; случалось, однако, мечась от сильного гнева, несмотря на присутствие кормилицы, с жестокими слезами я бешено кричала: «Тисифона, адская фурия, Мегера, Алекто, казнительницы душ скорбящих, развеите ваши кудри, что наводят ужас! К новым ужасам воспламените гнев свирепой гидры! Летите в комнату той злодейки, пусть от ее соединения с похищенным любовником возникнут мерцающие огоньки; и, окружив нежное ложе, будут дурными предзнаменованиями для негодных! Вы, обитатели мрачного чертога

Дита\*, о боги Стигийских царств бессмертных\*, туда собирайтесь и воплями устрашите неверных! Печальный сыч, плачь на несчастной крыше, а вы, Гарпии\*, предвещайте будущую гибель, адские тени, вечный Хаос, мрак непроглядный, обволоките прелюбодейные покои, чтоб неистовые глаза были лишены света! Пусть ваша пенависть, о мстители за преступления, войдет в их ветреные души и породит вражду меж ними!»

После этого, глубоко вздохнув, я продолжала хриплым голосом: «Злая женщина, хотя ты мне и неизвестна, теперь ты обладаешь тем, кого я так долго ждала, а я вдали от него томлюсь; ты собираешь плод моих мучений, а я свои мольбы вижу бесплодными, я возносила молитвы и фимнам богам за того, кого ты у меня своровала, так что мои моления пошли тебе на пользу; не знаю, как ты заменила меня в его сердце, но это — так; по тебе нечего радоваться этой перемене. И если ему, может быть, не захочется влюбиться в третий раз, то все-таки боги разрушат вашу любовь, как разлучили гречанку и идейского судью, молодого абидосца с его печальной Геро и несчастных детей Эола, и против тебя будет суровый приговор, а тот будет оправдан. Злая негодница, ты по его лицу должна была бы видеть, что у него есть возлюбленная, а увидев это (а не могла не увидеть), как ты решилась завладеть чужим имуществом? Конечно, как враг. И я тебя буду преследовать, как врага, как вора; пока живу, буду питаться надеждой на твою смерть; но смерть на тебя я накликаю не обыкновенную; пусть тебя вместо свинца или камня пращою бросят во врагов, пусть твое тело не предадут ни огню, ни погребенью, но, на куски растерзанное, бросят в спесь голодным собакам; и пусть они, пожравши мясо, из-за костей грызутся и, растащив, украдкой их глодают, чтоб было ясно, что в жизни воровски ты наслаждалась. Ни дня, ни ночи, ни часа не пройдет, чтоб я тебя не проклинала, и этому конца не будет; скорей небесная медведица \* погрянет в океане иль остановятся хищные волны сицилийской Харриды \*, умолкнут Сциллы \* псы, на Ионийском море всколосится пшеница, ночью будет свет, согласно примирятся огонь и влага, жизнь и смерть, ветер и море! Покуда Ганг будет тепл, а Истр холоден, на горах будут произрастать дубы, а в лугах зеленеть пастбища, я буду враждовать с тобою; смерть сама не прекратит моей ярости; преследуя тебя среди теней усопших, найду я средства, что и туда

проникнут, чтобы мучить тебя, а если случится, что ты переживешь меня (какой бы смертью я ни умерла), куда бы дух несчастный ни попал, найдет он силу вырваться и, вселившись в тебя, сделать безумной, как девы, что приняли Аполлона, или, являясь страшным призраком тебе наяву и во сне ужасном, будет к тебе приходить по ночам; что бы ты ни делала, повсюду я буду перед тобою жаловаться на обиду, и нигде ты не найдешь себе покоя; покуда будешь жить, везде тебя преследовать будет ярость, умрешь же — будет еще хуже от меня!

Увы, несчастной, мне! К чему эти слова? Я угрожаю, а ты вредишь и, обладая моим возлюбленным, так же мало обращаешь внимания на мои угрозы, как верховные цари на угрозы простых людей. Зачем у меня нет Дедаловой хитрости \* или Меденной колесницы \*, тогда я, окрылив свои ноги или вдруг вознесенная на воздух, могла бы очутиться там, где ты скрываешь любовную добычу! Как бы я заговорила к лживому юноше и к тебе, воровка! Как упрекала бы за ваше преступление! И после того как вы сознались бы со стыдом в своей вине, без удержу, без проволочки я приступила бы к моей мести; собственными руками вцепившись в твои волосы, рвала бы их, таская тебя туда и сюда, разорвала бы твою платье и насытила бы мой гнев в присутствии неверного любовника; но этого мне было бы недостаточно: острыми ногтями лицо, приглянувшегося лживым глазам, я расцарапала бы, навек оставив на нем следы своей мести, все тело истерзала бы жадными зубами и, оставив его на излечение тому, кто так прельщался им, с весельем вернулась бы в свое печальное жилище».

При этих словах глаза моя горели, зубы были стиснуты, кулаки сжаты, как будто мщенье отчасти было уже в моей власти; старая мамушка, чуть не со слезами, мне говорила: «Дочка, хоть мучит тебя жестокий бог, умерь свою тоску; а если жалость к самой себе тебя к этому не побуждает, то пусть погудит честь твоя, потому что легко к старой вине новый позор может присоединиться; молчи по крайней мере, вдруг муж твой услышит, вдвойне он будет огорчен твоим проступком».

Вспомнив о супруге, о попорченных закопах верности, я еще сильнее заплакала и сказала кормилице: «Верная подруга моих страданий, мужу моему горевать не о чем. Кто был причиной моего греха, тот сам его почистил; я получила и получаю награду по заслугам, супруг меня не мог бы больше наказать, чем наказывает любовник; только

разве смерть (если она так мучительна, как говорят) мог прибавить муж к моим мученьям, — пускай придет и убьет меня! Она будет не тягостна мне, а приятна, потому что я желаю ее, а от его руки мне легче будет умереть, чем от своей собственной; если он меня не умертвит и смерть сама не придет, я найду средство лишить себя жизни, лишь в этом полагая конец моим мученьям. Ад, последнее наказание несчастных, в самом пекле не так ужасен, как мое страданье! Древние авторы приводили в пример самых ужасных мук Тития \*, у которого ястреб клевал печень, снова вырастающую; не спору, это немалая мука, но с моею не сравнится, потому что если тому ястреба клевали печень, то мне постоянно разрывают сердце тысяча забот, более жестоких, чем птичий клюв; говорят также, что Тантал \* среди воды и плодов умирает от голода и жажды; конечно, и я среди всех мирских соблазнов, желая страстно своего возлюбленного и не имея его, терплю подобную же муку, даже большую, потому что тот имел некоторую надежду удовлетворить себя близкою водою и яблоками, я же, отчаявшись совершенно в том, от чего могла бы получить утешенье, любя все более того, кто добровольно удерживается чужою силой, я потеряла всякое терпенье. Муку несчастного Иксиона, что вращает тяжелое колесо, я тоже не нахожу такую, чтобы равнялася с моею; борясь все время с яростным напором судьбы враждебной, я гораздо большую терплю муку. А если дочери Даная \* вечно черпают воду дырявыми сосудами, в напрасных усилиях думая их наполнить, то я вечно лью слезы из печального сердца.

Зачем трудиться перечислять подробно все адские муки, раз во мне одной соединено больше мук, чем там рассеяно их разделенных? Да и страданья свои я должна скрывать или, по крайней мере, причину их, те же могут выражать их криком и движениями; если бы я могла так же поступать, конечно, мои страданья оказались бы меньшими. Насколько сильнее печет огонь стесненный, нежели тот, что расстилается широким пламенем. Как тяжело не быть в состоянии ни звуком не выразить своей тоски и не открыть ее причины, а с веселым лицом держать ее у себя в сердце! Итак, не скорбью, но облегченном от скорби смерть мне была бы; приди, дорогой супруг, и вместе отмсти за себя и меня избавь от печали; пусть твой кинжал пронзит мне грудь, исторгнув вместе с потоком крови мою душу, любовь и муки, растерзай мое серд-

це, вместилище всего этого, обманщика, укрывателя своих же врагов, растерзай его, как оно того заслуживает за свои преступления!»

Когда старая мамушка увидела, что я замолчала и слова залилась слезами, она начала дрожащим голосом: «Что говоришь ты, дорогая дочка? Пустые это слова, а смысл их еще того хуже; я много на своем веку видывала и знала о любовных историях многих дам; без сомнения, хоть я себя не причислю к вам, но тем не менее и я знавала любовную отраву, которая приходит к людям простым так же, как и к знатным, и к первым даже сильнее ввиду того, что трудовая жизнь дает им меньше путей к наслаждению, а у вторых, благодаря богатству, всегда открыта дорога к блаженству; но я никогда не слыхала, чтобы было так тягостно то, что ты считаешь непереносимым и мучительным. Хотя это печаль, и немалая, но не настолько велика, чтобы так терзаться и искать смерти, которую ты призываешь, конечно, больше в сердцах, чем сознательно. Отлично знаю, что гневная ярость слепа и не заботится скрываться, не терпит никакой узды, не боится смерти, даже сама подставляется под смертельные удары острых шпаг; если дать ей несколько остыть, то, без сомнения, тебе самой будет ясно, что безумствовала, потому, дочка, сдержись, не бушуй, а послушай, что я тебе скажу, какие доводы приведу.

Ты горько жалуешься (насколько я поняла из твоих слов), что тебя покинул молодой человек, жалуешься на нарушенное обещание, на любовь, на новую возлюбленную, и, по-твоему, равной твоей печали нет на свете. Конечно, если бы ты была умною (как мне того хочется), из всего этого (послушавшись меня) ты извлекла бы себе врачеванье. Молодой человек, любимый тобою, разумеется, по любовным законам должен был бы тебе платить тем же; если он поступает иначе, делает худо, но ничто не может его принудить к этому. Всякий может пользоваться данной ему свободой как ему угодно. Если ты его настолько сильно любишь, что тебе это невыносимо, он в этом не виноват и на него жаловаться нечего; ты сама главным образом виновата; Амур хоть и могущественный властитель и силы его несравнимы, но он тебя никуда не тянет, ты могла выбросить из головы молодого человека; твоё чувство и праздность мысли заставляли тебя любить его; если бы ты сильно противостояла, ничего бы не случилось, ты осталась бы свободной и могла бы смеяться



над ним и над другими, как, по твоим словам, он над тобою смеется. А так, раз ты свою свободу подчинила ему, тебе нужно сообразоваться с его желаньями: хочет он находиться вдали от тебя, ты должна это безропотно принять; что он со слезами клялся тебе в верности и обещал вернуться, тут ничего удивительного нет, всегда любовники так поступали; это придворные обычаи твоего бога.

А что он не сдержал своего обещания, тут никто не рассудит, можно только сказать: «Он поступил нехорошо» и успокоиться, думая, что, может быть, Судьба заставила его так поступить (если только она вмешивается в подобные дела), как она же заставила тебя ему отдаться; не он первый так делает, и не с тобою первой это случается. Ясон от Ипсипилы уехал с Лемноса \* и прибыл в Фессалию к Мееде \*; Нарис \* от Эноны ушел из идейского леса и пришел в Трою к Елене; Тесей \* от Ариадны уехал с Крита, в Афинах же соединился с Федрой; по ни Ипсипила, ни Энона, ни Ариадна не наложили на себя рук, по позабыли неверных возлюбленных. Амур, как я тебе уже сказала, по бóльшую обиду нанес и наносит тебе, чем ты сама желала; мы ежедневно видим, что он свои стрелы пускает без всякой осторожности; а должно было бы тебе быть ясно по тысяче примеров, что в том, что от него исходит, должны вникать мы самих себя, а не его. Он — ребенок, прелестный, голый и слепой, летает и кружит, и сам не знает где; просить у него жалости, утешенья, состраданья — только слова терять напрасно.

Та новая жепципа, что овладела твоим возлюбленным или которою он овладел и которой ты так страшно угрожаешь, может быть, не по своей вине его взяла; может быть, он на этом настаивал, та же не могла устоять против его просьбы; может быть, и она такая же, как ты, податливая, не могла на них не разжалобиться. Ведь если он так искусно плачет, когда захочет, как ты говоришь, то, очевидно, слезы, соединенные с красотой, неотразимую имеют силу; положим, что эта дама его и завлекла словами и поступками, — так что же? Теперь все стремятся к собственной выгоде и преследуют ее, как могут, по обращая внимания на других. И милая госпожа, может быть, не глупее тебя, видя его искусным воином Венеры, привлекла его к себе; кто поручится, что ты не могла бы сделать того же самого? Я не хвалю этого, но если ты не можешь не следовать Амуру и захочешь (если сможешь) от того свое сердце взять обратно, то многие юноши, более



того еще достойные, охотно, по-моему, пойдут в твоё подданство, и, наслаждаясь с ними, ты так же о нём позабудешь, как он позабыл о тебе с новой возлюбленной.

Над этими клятвами и обетами Юпитер смеется, когда они нарушаются, и кто поступает по отношению к другому так, как тот поступил по отношению к нему, не грешен перед небом, а по мирским обычаям делает, как и все. Теперь считается глупым хранить верность тому, кто ее нарушает, и высшею мудростью зовется изменою платить за измену. Ясоном покинутая, Медея взяла Эгея, и Ариадна, брошенная Тесеем, в супруги Вакха получила — так плач их обратился в ликованье; итак, терпеливо снеси свою скорбь, а жаловаться тебе, кроме как на самое себя, не на кого; оставить печаль есть много способов, если захочешь, имея в виду, что многие подвергались и не таким еще испытаниям. Что скажешь ты о Деяпире \*, покинутой Гераклом для Иолы, о Филлиде \*, брошенной Демофотом, и о Пенелопе \*, для Цирцеи Улиссом оставленной? Покрупнее твоих были их невзгоды, если у более замечательных мужей и жен и любовь бывает более пламенной, да выдержали же! Итак, не с одной и не с первой тобой все это случается, а если есть товарищи по несчастью, значит, это не так уже пеперспосимо, как ты говоришь. Итак, развеселись, брось пустые заботы и остерегайся своего мужа, как бы все это не дошло до его ушей, потому что хоть ты и говоришь, что он может наказать только смертью, но и самую смерть (ввиду того, что умирают только один раз в жизни) нужно выбирать лучше. Подумай, если исполнится то, что без ума на себя ты накликаешь, каким бесчестьем и вечным позором покроется твоё имя. Нужно к мирским явлениям относиться как к преходящим и пользоваться ими как таковыми, никто не должен слишком доверяться счастью, ни отчаиваться в несчастье. Клото \* их смешивает вместе, запрещает судьбе быть постоянной и мепяет всякую случайность, ни к кому боги не бывают так милостивы, чтобы обязаться и впредь быть такими же; Господь наши дела, начатые в грехе, ниспровергает, а судьба помогает сильным, робких же припнжает. Вот время доказать, есть ли в тебе какая-либо доблесть, хотя и всегда следует ее выказывать, но счастье часто ее скрывает. Надежда же имеет обычай скрываться в несчастье, так что, кто при всяком положении дел надеется, никогда не может прийти в отчаянье. Мы все — игрушки Судьбы, — и верь мне, не так легко

заботами изменить ее предназначения. Что бы мы, смертное племя, ни делали, ни предпринимали, все в большей мере зависит от неба; Лахесис \* при своей пряже руководится установленным законом и все ведет определенной дорогой, первый день твоей жизни назначает и последний, непозволительно направлять в другое русло раз установленное течение. Многим вредит боязнь неизбежного порядка, другим — отсутствие этой боязни; пока Судьбы своей трепещут, она уже пришла. Итак, отбрось печали, что ты сама себе избрала, живи весело, надеясь на Бога; часто случается, что человек считает счастье далеким от себя, а оно неслышными шагами уже пришло к нему. Много кораблей, благополучно пройдя глубокие моря, разбивается у входа в спокойные гавани, для других же, казалось бы, вся надежда потеряна, а они целыми и нередимыми входят в порт; я видела часто, как Юпитерова палящая молния поражала деревья, а через несколько дней опять они кудрявы; иногда же и при тщательном уходе они засыхают неизвестно отчего. Судьба дает нам различные дороги; как дала тебе скорбный путь, так, если ты поддержишь жизнь надеждой, может даровать и путь радости».

Не раз говаривала мне мудрая мамушка такие речи, пытаюсь разогнать мою печаль, но мало что принимала я из этих слов, большая часть которых разлеталась на воздух, а тоска с каждым днем все больше овладевала скорбящею душою, и часто, лежа на кровати, уткнув голову в руки, думала я тяжкие думы. Такие жестокие вещи скажу я, что можно бы не поверить, что о них даже может подумать женщина, если бы будущее не доказало нам этого. Удрученная небывалою скорбью, чувствуя себя без надежды покинутой своим возлюбленным, так говорила я сама с собою: «Вот Панфило заставляет меня умереть, как умерла сидопская Элисса \* или даже еще хуже; он хочет, чтобы я, покинув этот мир, ушла в другой; и я, покорная ему, исполню его волю и расплачусь и за свою любовь, и за свой грех, и за измену мужу; и если на том свете души, освобожденные от телесной темницы, имеют некоторую свободу, немедленно я с ним соединюсь, и, чего плоть не смогла сделать, душа возможет. Вот я умру! И жестокость эту (чтоб избежать несносных мук) сама я над собою совершу, потому что ничья другая рука не будет так тверда, чтобы достойно надо мною свершить заслуженное наказание. Без промедленья умерщвлю себя,

хоть смерть нам неизвестна, но ожидаю ее более благо-  
стной, нежели плачевная жизнь».

И, остановясь на таком решении, я стала выискивать, какой способ из тысячи выберу я, чтобы лишиться себя жизни; прежде всего на мысли мне пришло холодное оружие, которым многие, а в том числе и вышеупомянутая Элисса, покончили свою жизнь; потом я думала умереть, как Библида \* и Амата \*, но более чувствительная к моему доброму имени, нежели к себе самой, не столько боясь смерти, сколько опасаясь ее способа, я откинула оба предположения, потому что людям один мог бы показаться бесчестным, другой же слишком жестоким. Потом я вздумала поступить, как жители Сагунта \* и Абидоса \*, одни из страха перед Ганнибалом Карфагенским, другие перед Филиппом Македонским, когда со всем своим имуществом они сожгли себя; но, рассудив, что при этом пострадает ни в чем не повинный мой муж, и этот план отбросила, как оба предыдущие. Вспомнились мне и ядовитые напитки \*, что в старину причинили смерть Сократу, Софонисбе, Ганнибалу и многим другим героям; эта мысль пришла мне по душе, но, подумав, что много времени пройдет, куда я буду искать отравы, и мое намерение может пройти, я стала искать другого способа; подумала было я удушиться коленками, как многие делали, но, найдя этот способ смерти сомнительным и несколько затруднительным, перешла к другим: по таким же соображениям оставлены были мною и уголья Порции, и смерти Ино и Меликерта, а также и Эрисихтона меня останавливала медлительность и, кроме того, болезненность последней. Больше всего, казалось мне, подходила смерть Пердика, бросившегося с высокой критской стены, эта смерть мне правила как несомненная и лишенная всякого бесчестья; я так размышляла: «Брошусь с вышины своего дома, тело разобьется на сотню частей и отдаст через сотню кусков окровавленную и разбитую душу печальным богам; никто не обвинит меня в неистовой жестокости к самой себе, но принижут это несчастному случаю и поплачут обо мне, кляня судьбу».

На этом я остановилась, думая, что если я и ожесточилась против самой себя, то возможную жалость все-таки сохраняю.

Решив, ждала я только удобного времени, как вдруг внезапный холод проник в мои кости, и, задрожав, я так сказала: «Несчастливая, что хочешь делать? Ты хочешь

исчезнуть, побуждаемая гневом и тоскою? Разве, если бы ты была больна, при смерти, ты не должна была бы употребить все усилия, чтобы остаться в живых и перед смертью хоть один раз еще увидеться с Панфило? Ты думаешь, что, умерев, ты сможешь его увидеть? Ты думаешь, что жалость ни к чему его не может подвинуть по отношению к тебе? Что принесло Филлиде\* петербургской запоздалое возвращение Демофонта? Цветущим деревом она не чувствовала его прихода, который мог ее удержать, если бы не растение, а женщина его встретила. Живи, когда-нибудь он сюда вернется, пусть возвращается любящим ли, враждебным ли! Каким бы он ни вернулся, все равно ты его будешь любить, и, может быть, он заметит это и сжалится над тобою; ведь не от дуба, не от пещеры, не от скалы родился он, не тигровым и не другим каким звериным молоком вскормлен, не стальное или алмазное у него сердце, чтоб он не знал ни жалости, ни сострадания; а если он не тронется, то, будучи живою, тогда скорее можешь положить на себя руки. Ты, год печально проживши без него, можешь потерпеть и другой; кто смерти ищет, она всегда к его услугам, тогда она быстрее и лучше будет, чем теперь, и ты уйдешь с надеждой, что, каким бы врагом он тебе ни был, прольет несколько слез о тебе. Итак, отложи слишком поспешно взятое решение, — кто спешит с решением, часто раскаивается, а в том, что ты замыслила сделать, раскаиваться невозможно, а если было бы и возможно, то бесполезно».

С душой, охваченной такими мыслями, я долгое время колебалась, но Мегера, подстрекнув меня острою болью, заставила склониться в пользу первого плана, и молча стала я думать о его исполнении; и я, изобразив на своем печальном лице ложное успокоение, так кротким голосом обратилась к молчавшей кормилице с тем, чтобы она ушла: «Вот, милая матушка, твои правдивые слова на пользу проикли в мое сердце, но чтобы вышла совсем дурь из головы, оставь меня заснуть и помолчи немного».

Она, будто догадываясь о моих намерениях, похвалила, что я засну, и, чтобы исполнить приказание, отошла немного, но из комнаты совсем уйти ни за что не хотела. Я не хотела возбуждать подозрений, не протестовала против этого, думая, что, видя меня спокойною, она уйдет. Итак, лежа молча, желая обмануть своим видом, в последние часы, как я предполагала, своей жизни, не выда-

вая себя никакими внешними проявлениями, я стала так в печали размышлять: «Несчастливая Фьямметта, несчастнейшая из всех женщин, вот наступил сегодня твой последний день, и, бросившись с высокого дворца, ты разобьешься; душа покинет тело, кончатся твои слезы, вздохи, печали и желанья, и ты с Панфило свободны будете от данных обещаний. Сегодня ты получишь от него заслуженные лобзання; сегодня повлекут твое тело к позорной муке воинственных знамена Амура; сегодня душа твоя узрит Панфило; сегодня узнаешь ту, ради которой он тебя покинул; сегодня заставишь его силой сжалиться, сегодня начнешь отмщенье ненавистной сопернице. Но, боги, если есть в вас хоть капля жалости, услышьте последние мои молитвы: пусть смерть моя не будет позорною между людей; если я совершаю грех, вот уж готово ему и наказанье, потому что я умираю, не открывая причину своей смерти, что было бы мне немалым утешеньем, если б я была уверена, что не заслужу этим порицания. И дайте еще дорогому супругу выпнести мою смерть, — когда бы я, как должна, хранила любовь к нему, теперь не воссылала бы этих молитв, а радостно старалась бы сохранить свою жизнь. А я, как неблагодарная, как те, что худшего всегда себе ищут, вот какую награду себе готовлю! О Атропос \*, умоляю тебя для всех безошибочным твоим ударом, смиренно умоляю, сильнее стреми твоею силой падающее тело и безболезненно пресеки мою жизнь от пытки твоей Лахесис; тебя же, Меркурий \*, подземный восприемник, — твоей любовью, что тебя палит, моею кровью, что жертвую тебе, — молю, чтоб кротко душу ты мою провел в места, ей уготовленные твоим судом, и чтоб не столь ужасные ты ей определил, что в сравнении с ними прошедшее страданье казалось бы легким».

При этих словах мне предстала Тисифона и неслышным шепотом, ликом своим ужасным устранила сильнее, чем дни протекшие. Потом более явственною речью поведав мне, что раз свершенное не тяготит, смущенный дух мой новым пламенем подвигла к смерти. И видя, что старая кормилица все не уходит, и опасаясь, как бы от долгого ожидания не поколебалась моя решимость или какой-нибудь случай не помешал мне привести в исполнение мой замысел, я простерла свои руки на ложе, будто сбнимая его, и со слезами проговорила: «Постель моя, останься с богом, которого молю, чтобы для других он сделал тебя счастливее, чем для меня!».

Потом обвела я глазами горницу, которую не чаяла больше видеть, незвидела от скорби света божьего и, охваченная каким-то трепетом, ощупью хотела подняться; по члены, пораженные страхом, мне не повиновались, и я трижды падала ничком; во мне поднялась страшная борьба между неукротимым духом и боязнию, что первый силою держала; наконец дух победил, холодный страх бежал, воспламенилась скорбь, — и силы ко мне вернулись. Уже смертельной бледностью покрытая, я поднялась порывисто; как мощный бык, получивший смертельный удар, бьется и мечется, так, перед глазами имея блуждающую Тисифону, я соскочила наземь с ложа, не сознавая своих движений, как опьяненная, за фуриею вслед я добежала до лестницы и устремилась на верхнюю часть дома; уже выскочив из печального покоя, рыдая, блуждающим взором обвела я весь дом и говорила прерывистым и хриплым голосом: «Жилище, для меня несчастное, стой вечно и будь свидетелем моего падения перед возлюбленным, коль он вернется, а ты, супруг мой, утешься и впредь найди Фьяметту поумнее. Сестрицы милые, родители, подруги и товарки, служанки верные, пусть вас Господь хранит».

Я, в ярости все это говоря, стремилась несчастным бегом, как вдруг старая кормилица, как человек, от сна пререшедший к возбуждению, оставя пряжку, при виде всего этого подняла свое дряхлое тело и, крича насколько было мочи, пустилась за мной вдогонку. Я даже не предполагала, что она может так кричать: «Дочка, куда бежишь? Что за фурия тебя гонит? Так-то моими словами ты успокоилась? Постой, куда бежишь?»

Потом еще громче принялась вопить: «Девушки, молодцы, бегите скорее, держите сумасшедшую!»

Ее крик не достигал цели, ее преследование еще того меньше; у меня, казалось, выросли крылья, и я быстро летела к своей гибели стремилась; но непредвиденный случай, помеха добрым делам, как и злым, сделал так, что вот жива я; мои длиннейшие одежды, враги моего замысла, не будучи в состоянии воспрепятствовать моему бегу, не знаю как зацепились за какой-то сучок, покуда я бежала, и остановили меня, помешав мне привести в исполнение, что я задумала; потому что, покуда я старалась их отцепить, меня догнала кормилица; помню, я к ней обернулась и закричала: «Несчастливая старуха, беги отсюда, если тебе дорога жизнь, ты думаешь мне помочь,



по лишь оскорбляешь меня! Дай умереть мне теперь, когда я к этому готова и стремлюсь; кто жаждущему умереть пренятствует, тот сам его убивает; ты делаешься моим убийцей, думая спасти меня от смерти и, как враг, пытаешься продлить мою гибель!»

Уста кричали, сердце пылало, а руки в спешке вместо того, чтобы распутать, только запутывали платье; я не успела догадаться скинуть одежду, как подоспевшая с криком мамка, как смогла, стала мешать мне в этом; конечно, она сделать ничего не могла бы, если бы сбегавшиеся на ее крик со всех сторон слуги не удержали меня; я пыталась вырваться у них из рук, но, обессиленная, была отведена в ту же комнату, которую не надеялась больше увидеть. Сколько раз жалобно я им говорила: «Подлые рабы, что за усердие? Кто вам позволил вашу госпожу немилостиво так хватать? Какой бес вас толкал? А ты, мамка, что на горе меня выкормила, зачем ты помешала мне? Теперь мне большей милостью был бы смертный приговор, нежели пощада; если ты меня любишь, оставь меня располагать собою по моему усмотрению, и если так жалостлива, употреби свою жалость на то, чтобы после меня спасти мое доброе имя, потому что ты напрасно стараешься помешать мне в том, что я задумала; что ж ты думаешь удалить от меня все острые оружия, концы которых готовы к моему желанию? И петли, и травы ядовитые, и пламя? Чего достигла ты своим вмешательством? Продлишь немного горестную жизнь и к смерти, которая теперь была бы не позорной, прибавишь, может быть, своей отсрочкою бесчестье, присмотром ты меня не убережешь, потому что смерть можно всегда и везде найти, даже в пище; оставь меня умереть прежде, чем, опечалюсь еще более, я с новым бесчестьем ее не запросила».

Печально говоря эти слова, я своих рук не оставляла в покое, то ту, то другую служанку бешено схватывал, кому выдирала почти все волосы, кому в кровь царапала лицо ногтями, некоторым, помнится, все платье в клочья изодрала. Но ни старая кормилица, ни терзаемые служанки ничего мне в ответ не говорили, а плача исполняли свои печальные обязанности. Пыталась я их словами уговаривать, тоже ничего не действовало; тогда я с криком возопила: «Вы, неправедные, быстрые ко злу руки, что украшали меня, делая желанной для того, кого сама люблю безумно, — пусть же, после того как меня постигло



злое следствие вашей работы, теперь ожесточаетесь на собственное тело, рвите его, терзайте его и исторгните с потоком крови жестокою, неукротимую душу. Вырвите сердце, пораженное слепым Амуром, и, раз вы лишены оружия, ногтями безжалостно растерзайте его, первоисточник ваших бедствий».

Напрасно криками сама себе я угрожала и приказывала послушным рукам, — быстрые служанки мне мешали, удерживая силою.

Потом несносная кормилица печальным голосом сказала: «Дочка, молю тебя этою несчастною грудью, тебя вскормившею, послушай, что я скажу тебе. Я не буду тебя просить, чтоб ты не горевала или чтобы ты не гневалась, забыла все, скрывала, — нет, но лишь напомним то, что должно было бы быть для тебя жизнью и честью. Тебе, известной женщине немалой добродетели, не пристало поддаваться скорбям и уступать перед бедствиями; это не доблесть — искать смерти и страшиться жизни, как это делаешь ты; по высшая добродетель бороться с постигшими несчастьями и не бежать грядущих. Я не знаю, почему люди, которые борются с судьбою и не дорожат земными благами, ищут смерти и страшатся жизни, и то и другое суть поступки робких душ. Итак, если ты желаешь себя довести до крайних бедствий, тебе не следует искать смерти, которая все их упраздняет, беги этого неистовства, которым, думаю, в одно и то же время ты обретишь и потеряешь любовника. Ты думаешь, уничтожившись, достать его?»

Я ничего не отвечала, по ропот голосов уже распространялся по обширному дому и соседней улице; и как на вой одного волка все остальные сбегаются, так и к нам стекались все слуги, спрашивая, что случилось. Но я уже запретила рассказывать тем, кому было известно, так что от вопрошающих ужасный случай был скрыт ложью. Прибежал милый супруг, сестры, родственники, друзья; и все, введенные в обман пашею ложью, жалели меня, единственную виновницу; и все, пролив слезы, оплакивали мою жизнь, стараясь всячески меня утешить. Некоторые думали, что я сошла с ума, и смотрели на меня как на безумную; другие же, более жалостливые, видя мою кротость и печаль, смеялись над предположениями первых и сожалели меня. Так я была много дней как бы ошеломленная, тайно охраняемая мудрою мамушкой; и многие меня тогда посещали.

Нет столь пламенного гнева, что с течением времени не остывал бы. После нескольких дней, проведенных в таком состоянии, я пришла в себя, и ясно увидела справедливость кормилицыных слов, и стала горько оплакивать бывшее безумие. Но если моя ярость от времени уменьшилась и прекратилась, моя любовь не подверглась никакому изменению, я осталась при обычной печали, и мне было тяжело знать, что я брошена для другой женщины, и часто советовалась об этом с преданной мамушкой, придумывая, как бы вернуть к себе возлюбленного; иногда мы решали жалостным письмом известить его о всем случившемся, то думали, что лучше будет с опытным посланцем устно сообщить ему о моих мучениях, и хотя кормилица была стара, а дорога длинна и тяжела, однако для меня она хотела сама предпринять это путешествие, но по ближайшем рассмотрении мы подумали, что письма, хотя бы и самые жалостные, не смогут отвлечь его от существующей поной любви; так что от них мы отказались, и, так как мы ни одного не написали, то рассуждали о другом исходе; если послать туда кормилицу, то я отлично знала, что живую она туда не доберется, никому же другому я не могла довериться; и так, считая все эти мысли легкомысленными, я не видела никакого другого средства, как пойти самой к нему, но все рассуждения, как это сделать, которые приходили мне в голову, основательно опровергались моей кормилицею. То я думала одеться паломником и с какой-нибудь верной спутницей в таком виде достигнуть его страны; хотя это мне казалось исполнимым, однако я знала, что очень рискую при этом своею честью, так как странствующие паломники часто попадают по дороге в руки разбойников, кроме того, я считала, что без супруга или без его позволения я бы не могла отправиться, а разрешения бы он мне никогда не дал; поэтому от этой мысли я отказалась, как от пустой, и перешла к другой, довольно хитрой, которую я и привела бы в исполнение, не случись одного случая; по в будущем, если буду жива, не премину ее выполнить. Я сочинила, что во время моих бедствий и болезни я дала обет (в случае, если Господь меня от них избавит), для выполнения которого я могла бы и могу насквозь проехать страну моего возлюбленного, при каковом проезде я найду причину, по которой бы мне желательно и даже должно было его увидеть и скрыть от него причину путешествия.

Я сообщила это мужу, который охотно согласился на это и предложил свои услуги, но пришлось отложить эту поездку, а так как всякая отсрочка была мне тяжела и казалась пагубною, то я принуждена была искать других путей, из которых мне по душе пришлось только один, а именно: обратиться к волхвованию Гекаты \*, о чем я и была частые переговоры с лицами, утверждавшими, что они знают, как это делается; одни утверждали, что я внезапно перенесусь к нему, другие обещали отвлечь его от всякой другой любви и вернуть ко мне, третьи уверяли, что ко мне вернется прежняя свобода; желая достигнуть одного из этих результатов, я паходила у советниц больше слов, чем дела, так что неоднократно была обманута в своих ожиданиях, и к лучшему, так как, отложив об этом попечение, я стала ждать, когда настанет время, что мой супруг найдет благоприятным для выполнения вымышленного обета.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой Фьямметта рассказывает, как в то место, где она находилась, приехал другой Панфило, не ее, и когда ей сказали об этом, как она понапрасну обрадовалась, когда же увидела, что это не тот, к прежней своей печали воротилась

Мои печали продолжались, несмотря на ожидаемое путешествие, солнце в своем непрерывном движении сменяло день за днем, любовь и скорбь во мне не уменьшались, по дольше, чем того желала я, под властью своею меня держала напрасная надежда. Уж Феб своим лучом достиг тельца, похитившего Европу \*, и дни, поборая почти, из кратчайших сделалась длинными, вернулся цветоспный Зефир \* и усмирил свирепого Борея \*, прогнал туманы с неба и с гор снега, просохли от дождей луга сырые, трава, цветы явились в новой красоте, деревья, белые зимою, зеленою листвою покрылись, везде настало время, когда весна с улыбкой сыплет свои дары, земля же, будто звездами, цветами и травой пестреет, фиалками и розами, красною споря с восьмым небом \*, во всех лугах видны парциссы \*, мать Вакха \* признаки беременности уж подала, обременив больше обычного дружественный вяз, что и сам отяжелел, плащом покрывшись; Дриопы и унылые Фаэтона сестры \* возрадовались тоже, покинув жалкие одежды седой зимы; со всех сторон слышался приятный голос

веселых пташек, и Церера в поля открытые сошла с плодами. К тому же мой властелин жестокий еще пламенней заставлял чувствовать в сердцах свои стрелы, а потому девицы и молодые люди, одетые каждый как мог лучше, изобретали, как бы понравиться тому, кого любишь.

Наш город увеселялся радостными праздниками, изобилая ими больше, чем древний Рим, театры, полные пения и музыки, зазывали к своему веселью всех влюбленных. Молодые люди когда сражались на быстрых конях, когда боролись при звуках труб, когда показывали искусство управлять вспененными лошадьми. Охочие до таких зрелищ молодые женщины, увенчанные зеленою листвою, смотрели на своих возлюбленных то через двери, то из верхних окон, и каждая своего избранника ободряла, кто цветком, которая улыбкой, кто словами; лишь я одна, будто богомолка, держалась в стороне и, безутешная, сердилась на веселое время года, отчаявшись в надежде; ничто мне не нравилось, ничто не веселило, ничто не утешало, не прикасалась я ни к зелени, ни к цветам, не любовалась я на них радостным глазом; я стала завистлива к чужому веселью, я страстно желала, чтобы все женщины, как я, узнали немилость судьбы и любви. Как утешительно, помню, мне было слушать о любовных несчастиях, недавно случившихся.

Меж тем как боги держали меня в таком состоянии, обманщица Судьба, которая иногда, чтобы причинить еще большие страдания несчастным, среди бедствий вдруг, будто изменившись, оборачивается к ним с веселым видом, чтобы они, доверившись ей, еще глубже после радости впали в пучину горя (они же, понадеявшись на нее, так низвергаются, как Икар\* злосчастный, что с середины пути, слишком полагаясь на свои крылья, вознесшие его на высоту, рухнул в море, до сих пор хранящее его название), судьба, видя, что я из таких же, не довольствуясь уже претерпенными мною бедствиями, но готовя новые, ложною радостью заглушила несколько муки, чтобы, разбежавшись, как делают африканские бараны, издали тем сильнее нанести удар, — итак, тщетною веселостью она сменила мою горечь.

Однажды, когда уже четыре раза прошел срок, назначенный неверным любовником, в комнату, где я сидела и, по обыкновению, горевала, вошла старая кормилица более быстрой походкой, чем свойственна ее возрасту, вся в испарине; вошла и села, чтобы отдышаться, весело на меня

глядя, несколько раз пачинала говорить, но одышка все ей мешала; тогда я в удивленье сказала ей: «Милая матушка, что ты так уморилась? Что тебе так поспешно нужно рассказать, что ты не дашь себе дух перевести? Дурные или хорошие известия? Что мне делать: бежать или умирать? Не знаю, почему-то твой вид скорее сулит мне надежду; но так долго меня преследовали неудачи, что я уж боюсь, как бы еще хуже чего не случилось. Ну скажи только, не томи, отчего у тебя такая прыть? Кто тебя гнал: веселый бог или адская фурия?»

Тогда старая, немного отдышавшись, прервала меня и еще веселее заговорила: «Доченька сладкая, радуйся, нечего тебе бояться! Выкинь печаль из сердца, по-прежнему будь весела: вернулси твой милый».

Эти слова, дойдя до моего сердца, обрадовали меня, глаза мои внезапно засияли, но привычная печаль, быстро прервав веселье, не доверять меня побуждала, и я сквозь слезы так промолвила: «Кормилица дорогая, прошу тебя твоею старостью, костями, что на покой просятся, по смейся надо мною, несчастной, ведь мою печаль и ты должна бы разделять. Ведь прежде реки потекут к истокам и Веспер \* приведет нам ясный день, скорей Феба \* лучами брата осветит ночь, чем возвратится неверный возлюбленный. Всем известно, что веселится он теперь с другою женщиной, которую он любит больше меня. Где бы он ни был, он вернется к ней, не то что от нее сюда уехать».

Но она меня прервала: «Клянусь спасением души, Фьямметта, несколько не врет твоя мамка; прилично ли было бы в мои годы так шутить, да еще с тобою, которую люблю я больше всего на свете?»

«Как же, — сказала я, — ты это знаешь, откуда услышала? Скажи скорей, чтоб я обрадовалась, если это похоже на правду».

И тогда я поднялась со своего места и, повеселев, пошла к старухе, которая так начала: «Сегодня утром по домашним делам шла я не спеша вдоль морского берега и смотрела на суда, что были в бурном море, как вдруг какой-то молодой человек выскочил из лодки, но, не рассчитав расстояния, наскочил на меня; я обернулась было, чтобы обругать его хорошенько, но он сейчас же вежливо извинился. Посмотрев на него, я по платью и по лицу признала в нем Панфилова земляка и спросила: «Позволь тебя спросить, молодой человек, ты — дальний?» — «Да, госпожа», — отвечал он. Тогда я говорю: «А позволь тебя

спросить откуда?» А он мне: «Я из Этрурии, из славного города, там родился и там живу». Услышав, что он земляк с твоим Панфило, я спросила, не знает ли он его и как тот поживает; тот ответил, что знает, много про него рассказывал и прибавил, что тот собирался приехать вместе с ним, да немного задержался, но через несколько дней, наверное, придет. Меж тем сошли на берег товарищи молодого человека с вещами, и он с ними ушел. Тогда я, бросив все дела, скорей, скорей — сюда, запыхалась, как ты видела, но радуюсь и прочь гопю твою печаль».

Тогда я обняла старуху, радостно в лоб ее поцеловала и все спрашивала, правду ли она мне рассказала, боясь, как бы она не сказала, что нет, да и поверить опасаясь; но после того как она неоднократно клятвенно все мне подтвердила, пусть правда или ложь, я поверила ей, и голова у меня закружилась, и, радостная, так богов я благодарила: «Юпитер верховный, небес правитель, о лучезарный Аполлоп, всевидец, о благостная Венера, милостивая к своим рабам, о сын святой, посящий милые стрелы, — хвала вам! Бесспорно: кто в надежде на вас по ослабевае, тот не погибнет. Вот не за мои заслуги, но по благодати вашей вы возвращаете моего Панфило, которого не прежде я увижу, чем принесу фимиам на ваши алтари, что прежде омывала я с горячим мольбами слезами горькими. Тебе же, милостивая к моей погибели Судьба, в дар принесу я изображение обещанное, свидетельство твоих благодеяний. Со всем смирением и благоговением я молю вас: устрани все препятствие, что помешало бы Панфило возвратиться, пусть благополучно придет здоровым и невредимым, каким был раньше!»

Окончив молитву, захлопала я в ладоши, радуясь, как сокол, с которого сняли шапочку, и так заговорила: «О любящая грудь, теснимая так долго скорбью, брось заботы, вернется, вспомнив о нас, милый, как обещал. Прочь, скорбь и стыд времен печальных, пусть уходят судьбы туманы и всякое подобие печальи, с веселым лицом смотрю я на настоящее счастье, и старая Фьямметта вся обновляется душою обновленной!»

Меж тем как в радости я про себя так говорила, заколебалось сердце, и, не знаю откуда нашедшая, всю меня охватила слабость, что остановило готовность веселиться и прервало мои мечтанья. Увы, как присущ несчастным этот недостаток — никогда не быть в состоянии верить счастью; хотя и обернется к ним благосклонно судьба, но



радость у несчастных не увеличивается, и будто видят все во сне, так неохотно предаются радости; и в удивление так я начала сама с собою: «Что помешало моей начавшейся радости? Разве Папфло мой не возвращается? Да, да, так что же побуждает меня к слезам? Нет никакой причины, чтобы печалиться, так что же удерживает меня украсить цветами и нарядиться? Что это — я не знаю, но что-то меня удерживает».

И так, потерянная в сомнениях, не желая, я стала плакать, и в голосе моем зазвучали обычные жалобы; так грудь, привыкшая к долгим страданиям, все стремилась проливать слезы. Моя душа, будто провидя будущее плачем, давала внешние предзнаменования того, что должно было случиться, через которые я верно теперь знаю, что тогда сильнейшая буря грозила мореходцам, меж тем спокойным казалось безветренное море; но страстно желая преодолеть то, чего душа моя преодолевать не хотела, я сказала: «Несчастливая, что за предвестья выдумываешь ты? Поверь пришедшему счастью; ты опоздала с бесполезным страхом того, что предвещаешь».

Так рассудив, я снова предалась веселью и отгоняла, как могла, мрачные мысли; побуждаемая старой кормилицей, уверенной в возвращении моего милого, переменила я печальные одежды на веселые и стала заботиться о себе, чтобы не отвратить его, когда придет, унылым видом. Бледное лицо начало принимать прежние краски, я несколько пополнела, слезы пропали, а с ними вместе и спные круги под глазами, глаза стали не такие впалые и приобрели прежний блеск, щеки, которые от слез несколько погрубели, по-прежнему стали нежны, мои волосы, хотя и сделались вдруг, как прежде, золотистыми, были приведены в порядок, и дорогие, драгоценные платья, так долго лежавшие без употребления, опять были надеты мною. Что еще? Одним словом, я совершенно обновилась и возвратилась к прежней красоте, так что соседи, родственники, муж мой не могли надивиться и говорили: «Что за чудо, что уже прошла ее столь продолжительная тоска и печаль, которую прежде ни просьбами, ни утешеньями пельзя было прогнать? Это прямое чудо». Но, несмотря на удивление, все были очень рады. Наш дом, долго остававшийся унылым во время моих переживаний, теперь повеселел вместе со мною; и как мое сердце изменилось, так и все вокруг, казалось, изменилось и стало радостным.



Дни, казавшиеся вообще мне длинными, теперь от надежды близкого возвращения Панфило, казалось, тянутся бесконечно; я их считала, как и прежде, и, вспоминая прошлые печали и думы, жестоко себя за них упрекала, говоря: «Как плохо ты думала о своем милом, коварно осуждала его отсутствие и слепо верила, что он другой принадлежит, а не тебе! Проклятые сплетни! Боже мой, как могут люди так прямо в глаза врать? Конечно, я должна была со своей стороны не так безрассудно относиться ко всему этому, я должна была противопоставить клятву моего милого, его слезы, его любовь ко мне — словам людей, которые без всякого ручательства болтают, что им с первого взгляда показалось; доказательства палицо. Один увидел, что в доме Панфило свадьба (а других молодых людей, он знал, что в доме нет), забыл, что и старики могут иметь непозволительную похоть, вообразил, что это женится Панфило, так и болтает, не думая, что говорит. Другой увидел, может быть, что Панфило раз или два посмотрел или пошутил с какой-то красивой женщиной, которая к тому же могла быть его родственницей, и естественно, что просто с ним обходилась, — и вообразил, что это его любовница; сам глупости врет, и сам им верит. Если б я на все это здраво посмотрела, избежала бы столько слез, вздохов, мучений!

Но разве влюбленные умеют поступать разумно? Наши мысли порывисты; любовники всему верят, потому что любовь — дело беспокойное и опасное. Они по привычке всегда ждут, что случай им повредит; а кто желает сильно, тот всегда думает, что все может препятствовать его желанию, а не помогать; но ко мне эти упреки не подходят, потому что я всегда молила богов, чтобы мои подзрения оказались ложными. Вот мои молитвы услышаны, но он всего еще не узнает, а если б и узнал, что мог сказать бы, кроме как: «Да, пламенно она меня любила»? Ему должны быть дороги мои мученья, опасности пройденные, как наглядное доказательство моей верности, ведь и в причине его опоздания я сомневалась едва ли не для того, чтоб испытать, хватит ли у меня силы духа, не изменяясь, ждать его; вот храбро его ждала я.

Уже теперь, узнав, какими усилиями, трудами и слезами его я заслужила, не иначе как меня полюбит. Боже мой, когда же он придет и мы увидимся? Всевидец Господи, сдержусь ли я, чтобы не расцеловать при всех, когда его увижу в первый раз? Не верится, чтобы сдержалась.

Боже, когда смогу, обняв его, вернуть те поцелуи, какими он, уходя, покрывал безответно мое помертвелое лицо? То предзнаменование, что мне сулило не дать ему прощенья, оправдалось, но в этом боги ясно указали мне на будущее его возвращение. Боже, когда смогу поведать ему свою тоску и слезы и он расскажет мне, почему так медлил? Доживу ли? Едва верится. Пускай скорей наступят этот день, потому что теперь мне страшно смерти, которую я прежде не только призывала, но искала; пусть она, если мольбы доходят до ее слуха, удалится и даст мне провести молодые годы с моим Панфило в радости!»

Я беспокоилась, если хотя бы один день прошел без вести о прибытии Панфило; и часто посылала я кормилицу найти опять того юношу, что сообщил радостную новость, чтобы вернее подтвердил свое известие, она несколько раз делала это и каждый раз уверяла, что его приезд все близится. Я не только ожидала обещанного срока, но, предупреждая события, думала, что, может быть, он уже приехал, и беспрестанно на дню подбегала то к окнам, то к двери, смотря вдоль улицы, не видать ли его; кого бы я вдали ни завидела, все думала, что это, может быть, он, и с волнением ждала, покуда он не приближался настолько, что я могла убедиться в своей ошибке; немного смутясь этим, я ждала других прохожих; а если случалось, что меня звали домой или я уходила по другой какой причине, то на душе у меня будто собаки грызли, так меня мучило, и я говорила: «Может быть, он теперь идет или прошел, пока ты не смотрела, вернись». Я возвращалась, и уходила, и снова возвращалась, так что почти полвремени проходило в том, что я переходила от окон к двери и от двери к окнам. Несчастливая, с часу на час так поджидая, сколько я намучилась из-за того, чему случиться не суждено было!

Когда настал день, в который он должен был приехать, как неоднократно предупреждала меня кормилица, я убралась подобно Алкмене \*, услышавшей о прибытии ее Амфитриона, искусною рукою придала себе наибольшую красоту, насилу удержалась, чтобы не выйти на морской берег, чтобы скорей его увидеть, узнав, что прибыли галеры, на которых, как уверяла меня кормилица, он должен был приехать; но, рассудив, что первое, что он сделает, это придет ко мне, я сдержала горячее желанье. Но он не пришел, как я воображала; я крайне этим была

удивлена, и среди радости опять в уме возникли те сомнения, которые с трудом я победила веселыми мечтами. Тогда я снова послала старуху узнать, что с ним, приехал он или нет; она отправилась, как мне показалось, ленивее, чем всегда, и я прокллинала ее медлительную старость, но чрез некоторое время она вернулась с печальным лицом и медленной походкой. Я чуть не умерла, увидев ее, и сейчас же мне в голову пришло, не умер ли в дороге или не приехал ли больным мой милый. Меняясь в лице, я бросилась навстречу ленивой старухе и сказала: «Скорее говори: какие вести? Мой милый жив?»

Она не прибавила шагу, ничего не ответила, по, придя, посидела немного, смотря мне в лицо. Я вся, как молодая листва, что ветер треплет, затрепетала и, еле сдерживая слезы, прижав руки к груди, сказала: «Коль ты сейчас не скажешь мне, что значит твой унылый вид, ни одна часть моих одежд не останется целой! Только несчастье может принуждать тебя к молчанию; не таи, открой, а то я худшее подумаю: Папфило мой жив?»

Побуждаемая моими словами, потупилась она и тихо молвила: «Жив».

«Что ж, — продолжала я, — ты не говоришь, что с ним случилось? Что ты меня томишь? Он болен? Что его удержало, что, сойдя с галеры, он не пришел ко мне?»

Она сказала: «Не знаю, здоров ли он и что с ним».

«Значит, — сказала я, — ты его не видела, или он, быть может, не приехал».

Тогда она сказала: «Я его взаправду видела, и точно приехал, но не тот, кого мы ждали».

Тогда я ей: «Почем ты знаешь, что приехал не тот, кого мы ждали? Видела ли ты его прежде и хорошо ли его теперь ты рассмотрела?»

Она в ответ: «По правде, того я не видела рапыше, пасколько я знаю; по теперь привел меня к нему тот молодой человек, что первый мне объявил о его приезде, и сказал, что я о нем часто справлялась; он у меня спросил, о чем я узнавала, на что я ответила, что о его здоровье; а на мои вопросы, как поживает его старый отец, как его дела и почему он так долго был в отпуске, он отвечал, что отца своего он не знал, родившись после его смерти, что дела его, слава богу, идут хорошо, что здесь он никогда не бывал и долго пробыть не собирается. Я очень удивилась и, чтобы не быть обманутой, спросила его имя, которое он мне сказал совершенно просто; и

лишь я его услышала, как поняла, что тождество имеп и ввело нас с тобою в обман».

Услышав это, невзвидела я света божьего, дух меня покинул, и силы осталось в теле лишь настолько, чтобы вскричать «увы!», падая на ступеньки. Старуха заголо-сила и, созвавши других домашних, перенесла меня за-мертво в унылый мой покой, где положили на постель, холодною водою приводя в чувство, долгое время не зная, осталась ли в жпвых я или нет; придя в себя, со слезами и вздохами опять спросила я у кормилицы, верно ли все, что она мне сказала.

Кроме того, вспомнив, насколько Панфило всегда был осторожен, подумала я, что, может быть, он скрывался от кормилицы, с которой прежде никогда не говорил, и по-просила ее описать мне его наружность. Она сначала клятвенно подтвердила мне правдивость своего рассказа, потом по порядку описала мне рост, сложение, главным образом лицо и костюм его, каковое описание также под-твердило мне рассказ старухи; почему, покинув всякую надежду, вернулась к прежним я стенаням, поднявшись, в бешенстве скинула праздничные наряды, сложила уборы, причесанные волосы рукою растрепала и безутеш-но плакать принялась, кляня обманщицу судьбу и невер-ные мысли о ветреном любовнике. И вскоре внала я в прежнюю тоску и еще больше захотела умереть, чем прежде, и если я избежала смерти, так только надеясь на будущее путешествие, что меня удерживало в жизни с немалой силой.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой Фьямметта, сравнивая свои бедствия с таковыми же многих женщин древности, доказывает, что ее были более тягостные, и окончательно заключает свои жалобы

И вот, о жалостливые мои дамы, осталось мне вести жизнь, какую сами можете вы предположить по выше-сказанному; и неблагодарный мой повелитель, чем больше видел, что от меня бежит надежда, тем больше, оже-сточаясь против меня, раздувал во мне пламя; с его уси-лением увеличивались и мои муки; они же, никогда не имея возможности быть облегченными каким-нибудь це-леньем, все обострялись и, обостренные, сильнее удру-чали унылый дух мой. Несомненно, что, естественно раз-

виваясь, они меня сами собой привели бы к смерти, некогда столь мною желанной; но, крепкую надежду возложив (как я уже сказала) на будущее путешествие, во время которого предполагала я увидеться с виновником моих бедствий, я старалась не то чтобы бороться с ними, но их выдерживать; для этого мне представился один только способ, а именно: сравнить мои страдания с прежде бывшими; причем я разбирала их с двух сторон: во-первых, что не я одна несчастна, как в утешенье мне уже говаривала кормилица; во-вторых, что (по моему суждению) мои страдания значительно превосходят все другие; по-моему, я делалась очень горда, что никто из смертных не перепес таких жестоких мук, как я. Не будучи в состоянии избежать этой славы, как никто, в настоящее время так провожу я печальное время, как услышите.

Скажу, что обремененной скорбью, при воспоминаньях о чужих печалях, первую на ум приходит мне Инахова дочка \*, которую себе я представляю красивою и томною девицею, счастливой от сознания, что Юпитером она любима, что всякой женщине, несомненно, должно казаться высшим блаженством; потом воображая себе ее обращенною в телушку и отданною по настоянию Юноны под надзор Аргусу, сознаю, что она должна была испытывать невыразимое мученье; конечно, ее страдания были бы несравненно сильнее моих, если бы она не находилась под постоянным покровительством влюбленного бога. Ведь если б мой возлюбленный служил мне помощью в бедствиях или, по крайней мере, был к ним сострадателен, разве какое-нибудь страдание мне было тяжело? Кроме того, конец ее страданий сделал их, как протекшие, весьма легкими, ибо, по смерти Аргуса, хотя обремененная тяжелым телом, но без труда перенесенная в Египет и приведенная в прежний образ и данная в жены Озирису, она оказалась счастливейшей царицей. Конечно, если бы я могла надеяться хотя бы в старости увидеть моего Панфило, сказала бы, что мои страдания нельзя и сравнивать с бедствиями этой женщины; но один Бог знает, случится ли это, как я себя обманывала ложной надеждой.

После этой мне представляется любовь злосчастной Гиблиды \*, что все бросила и последовала за неподатливым Кавном, а вместе с нею преступная Мирра \*, что, вкусивши позорного счастья, бежать хотела смерти от

отцовской руки, но к более несчастному концу пришла; еще мне видится грустная Канака \*, которой, по рождении преступно зачатого ребенка, ничего не оставалось делать, как умереть; и, размышляя над их судьбою, я крайне бедственной ее находила, хотя любовь их была преступною. Но муки их кончались скоро, ибо Мирра с помощью богов тотчас обратилась в дерево, одного с нею названия, и не чувствовала своих мучений (хотя и точит слезы даже обращенная в другой вид), так что, как только явилась причина скорби, явилось и ее целенье. Также Библида (как некоторые говорят) немедленно покончила свои страдания петлей, хотя другие утверждают, что нимфы, сжалившись над ее бедствиями, обратили ее в ручей, одноименный с нею; и случилось это, как только она узнала, что в счастье ей Кавном отказано. Скажу только, что, утверждая, что мои муки больше их, сошлюсь на то, что они были гораздо кратковременнее.

Вот долго страдали несчастные Пирам \* и Тисба, которым я всем сердцем сострадаю, представляя их себе молодыми, долго и горестно любившими, погибшими, ища соединить свои желанья. Как попятно горе юноши, когда он в молчанье ночи под тутовым деревом у светлого ручья нашел одежды своей Тисбы окровавленными, раздранными дикими зверями, ясные доказательства, что его возлюбленная растерзана! Конечно, он решил себя убить. Затем, обращаясь мыслями к Тисбе, представляю себе, как она увидела перед собою милого, окровавленного, но еще сохраняющего остаток жизни, я вижу их слезы и знаю, как они горючи, я думаю, горючее всех, исключая моих, потому что эта пара, как я уже сказала, свои бедствия прекратила, едва начавши. Блаженны души их, что в другом мире так же друг друга любили, как и в этом! Какая мука может быть сравниваема с блаженством вечного соединения?!

Потом мне вспоминается настойчиво печаль покинутой Дидопы \*, наиболее мне близкая. Я вижу, как она строит Карфаген, торжественно дает народу законы в храме Юноны, благобно принимает потерпевшего кораблекрушение Энея, влюбляется в него, себя и все свое царство отдает в распоряжение троянскому вождю, который, насладившись царской прелестью и со дня на день все более в Дидопе раздувая любовный пламень, бросил ее и уехал. Как достойна жалости она мне видится, когда ее представляю себе смотрящей на море, покрытое кораб-

лями бежавшего любовника! Но в конце концов, принимая в соображение ее смерть, она мне кажется скорее нетерпеливой, нежели скорбной; конечно, в первые минуты после отъезда Панфило я чувствовала печаль, ту же самую горечь, что и она, когда Эней уехал; если б боги тогда соизволили, чтобы после краткой скорби я тогда же себя умертвила! Тогда, по крайней мере, как и она, я избавилась бы от моих мучений, которые все усиливались беспрерывно.

Затем мне представляется Геро \* из Сеста: вот, вижу, сошла она с высокой башни на морской берег, где обыкновенно принимала она в свои объятия усталого Леандра, вот смотрит с горьким плачем на мертвого возлюбленного, вынесенного дельфином, лежащего голым на песке, вот своей одеждой с мертвого лица вытирает соленую влагу, орошая его слезами. Ах, как сожалею я ее! По правде, я сострадаю ей больше, чем какой-либо из прежде упомянутых женщин, настолько, что часто, забыв о своих горестях, оплакиваю я ее. И никакого утешения я для нее не нахожу, кроме одного из двух: или умереть, или погибшего забыть, и, выбрав одно из двух, положить предел страданьям; ничто потерянное, чего вернуть надежды не имеем, не может долго нас томить. Но если бы со мною это случилось, чего не дай бог, я выбрала бы смерть; но этого случиться не может, пока Панфило мой жив, чью жизнь да продлят боги, сколько он сам пожелает; поэтому, принимая во внимание постоянное движение земных событий, я думаю, что когда-нибудь вернется он ко мне таким, каким был прежде; но надежда эта, не осуществляясь, делает постоянно жизнь мою тягостной; и потому свою печаль я почитаю большей.

Вспоминается мне также не раз читанное во французских романах, если им можно доверять, что Тристан и Изотта любили друг друга сильнее, чем кто бы то ни было, и, проведя юность то в счастье, то в несчастье, пришли, любя, к концу такому, что оба покинули земные радости с большим страданьем; это легко допустимо, если они думали, что в том мире они не могут наслаждаться, но если они думали иначе, тогда скорее радость, чем печаль, должна была бы принести им смерть, которую многие считают жестокой и тяжелой, но я полагаю иную. И как можно доказать тяжесть чего-нибудь, чего не испытал? Никак, конечно. В руках Тристана была его смерть и смерть его возлюбленной; если при сжатии оц



бы почувствовал боль, ему стоило только разжать руку, и боль бы прекратилась. Кроме того, можно ли назвать тяжелым то, что бывает только раз в жизни и длится очень короткое время? Конечно, нет. И радости, и горести Тристана и Изотты вместе кончились, у меня же долгая и невыразимая печаль значительно превосходила мою радость.

К вышеупомянутым присоединю еще и несчастную Федру \*, которая безрассудною яростью погубила того, кого больше всего любила; наверное мне неизвестно, что с ней случилось после этого проступка, но знаю наверное, что, выпади мне это на долю, я злою смертью искупила бы свой грех; а если она в живых осталась, как я уже сказала, то скоро его забыла, как забывают все, что умирает.

К ним присоединю печаль Лаодамии \*, Дейфилы \*, Аргни \*, Эвадны \*, Деяниры \* и многих других, которые нашли успокоенье в смерти или в неизбежном забвении. Конечно, можно обжечься об огонь, раскаленное железо, расплавленный металл, лишь прикоснувшись пальцем и тотчас отдернув руку, но это не может сравниться с тем, когда всем телом долгое время лежишь на огне. Так что все то, что я описала выше как несчастья стольких женщин, есть как бы подобие того, что я одна претерпевала и претерпеваю.

Представлялись мне все вышесказанные любовные муки, а также не менее горестные слезы, что заставляют проливать внезапные нападения судьбы; о, если бы сделалось счастливым поколение, обреченное на крайнее несчастье! И эти слезы — слезы Иокасты, Гекубы, Софонишбы, Корнелии и Клеопатры. О, сколько бедствий увидим мы, рассматривая злоключения Иокасты; скопившиеся все в ее жизни, они могли бы поколебать всякого сильного духом. Выданная в молодости замуж за Лая, царя фиванского, она свое перворожденное дитя должна была отослать зверям на съедение, чтобы избавить несчастного супруга от того, что неумолимый рок ему предназначил. Можно подумать, какова была скорбь ее, если мы вспомним, кого она отсылала. Удостоверившись в исполнении своего приказания и считая своего сына умершим, через несколько времени, после того как муж ее лал от руки ее ребенка, не признав сына, сделалась она его женою и родила ему четырех детей; и так вместе матерью и супругой стала отцеубийцы и узнала об этом тогда лишь, когда тот, лишенный зрения и царства, поведал свою вину.

В каком состоянии была ее душа, уже преклонного возраста, ищущая более покоя, нежели страданий? Можно думать, что в прискорбнейшем; но судьба, этим не удовлетворившись, еще прибавила печали к ее бедствиям. Пришлось ей видеть, как было разделено по договору время царствования между двумя ее сыновьями, затем, как одного из братьев, не сохранившего условия, осадила большая часть Греции под предводительством семи царей, как, наконец, после многих битв и пожаров два ее сына друг друга убили и под другим господством изгнан ее сын-муж, как пали древние родные стены, возведенные под звуки Амфионовой кифары, и погибло ее царство, и, повесившись, двух дочерей она оставила на произвол позорной жизни. Что еще могли сделать боги, люди и судьба против нее? Кажется, что ничего; во всем аду по сыщется такой муки; все степени страдания она прошла и преступленья. Мои страдания не могли бы сравниться с этими, если бы они не происходили от любви. Можно ли сомневаться, что, сознавая себя, свой дом и мужа заслуживающими божеского гнева, она свои несчастья принимала как должные? Нельзя, если считать ее смиренной. Если она была безумной, то едва сознавала свою гибель, не зная которой, не так и чувствовала; а кто считает заслуженным зло, которое он терпит, тот переносит его без тягости или тяготясь не так сильно.

Я же никогда ничего не совершала, что возбудило бы против меня богов, всегда их чтила, всегда им жертвы приносила и не презирала их, как фиванцы. Может быть, скажут: «Как можешь ты утверждать, что никакого наказания не заслужила и ничего преступного не совершила? А разве ты не нарушила святых законов и не запятнала супружеского ложа?» Конечно, да. Но, по правде, только этим и грешна я и не заслуживаю подобной кары; нужно подумать, могла ли я в нежной юности противиться тому, чему не могут противостоять сами боги и сильные мужчины? И в этом я — не единственная, не первая и не последняя; почти все женщины так поступают, и законы, против которых я грешна, не могут не быть снисходительными ввиду такого множества. К тому же мой проступок держался в большой тайне, это обстоятельство должно значительно смягчить отмщенье. Кроме того, если бы боги заслуженно на меня и гневались, не нужно ли было бы такой же мезтью отомстить и виновнику моего греха? Я не знаю, кто побудил меня попать священные

законы: Амур или паружность Папфило? Кто бы там ни был, по оба они имели власть необычайно меня беспокоить; так что это случилось не по моей вине, притом было только новым горем, отличным от других по остроте, с которой оно мучит посетителя, и которое, если разбирать его как грех, сами боги против своих законов и принятых обычаев совершают; они должны бы соизмерять наказание с проступком, потому что, если сравнить грех Иокасты и месть, постигшую ее, с моей виною и мукою, что я терплю, станет очевидным, что та недостаточно наказана, я же сверх меры.

Кто-нибудь придерется и скажет, что та была лишена царства, сыновей, мужа и, наконец, самой жизни, я же потеряла только возлюбленного. Согласна; но судьба с этим возлюбленным отняла у меня все счастье; и то, что в глазах людей осталось мне как блага, есть совершенно противоположное, потому что супруг, богатство, родственники и все прочее только меня тяготят и противоречат моему желанию; если бы они были отняты от меня вместе с моим возлюбленным, тогда мне была бы полная свобода привести в исполнение мое намерение, что я и сделала бы; если же бы я его исполнить не могла, то тысячу способов смерти были бы к моим услугам, чтобы прекратить мои мученья. Итак, я справедливо считаю мои муки более тяжелыми, чем все вышеперечисленные.

Гекуба мне кажется весьма горестной, оставшаяся одною зреть жалкие обломки столь великого царства, столь удивительного города, гибель такого доблестного мужа, столько сыновей и дочерей прекрасных, столько невесток, внуков, богатства, власти, убийство столько царей, уничтожение троянского народа, падение храмов, удаление богов; и видела, и вспоминала Гектора, Троила, Деифоба и Полидора с другими, вспоминала, как они погибли у нее на глазах, как пролита была кровь ее супруга, недавно еще почитаемого и державшего в страхе всех, как Троя, богатая народом и высокими дворцами, разрушена и сожжена греческим огнем; и, наконец, с какою горечью приходило ей на память, как Пирр принес в жертву ее Поликсену? С большою, разумеется. Но коротка была ее печаль; немолодой и слабый дух не выдержал всего этого и замутился, так что она в безумии стала лаять в полях.

Я же твердою и пезамутненною памятью, к моему несчастью, все возвращаюсь к печали и все больше и

больше нахожу причин жаловаться, а потому мою продолжительную скорбь, как она ни была легка, считаю я (как уже не раз говорила) более тягостной, нежели более сильную, но длящуюся короткое время.

Полной досадной горечи мне представляется и Софонисба, которую печаль вдовства и радость свадьбы, соединившись, делали одновременно горестной и веселой, что была пленницей и супругою, лишенной царского достоинства и снова им облеченною, и наконец во время этих же коротких переживаний отраву выпила. Я вижу гордую нумидийскую царицу, как вышла замуж (когда неудачно пошли дела ее родственников) она за Сифакса, как стала пленницею Массиниссы-царя, лишена царства и снова получила его в неприятельском стане, назвав супругом Массиниссу. С каким презрением должна была она смотреть на земное непостоянство и печально справлять новую свадьбу, не полагаясь слишком на летучую судьбу! Ее конец отважный доказывает это; потому что, не проведя еще дня одного после свадьбы, она думала удержаться у власти, не приняв в сердце нового супруга, как прежнего Сифакса, она смелою рукою взяла от раба, подосланного Массиниссою, сильный яд, бесстрашно выпила его с презрительными словами и вскоре умерла. Как печальна была бы ее жизнь, если б она продолжилась! Теперь же ее можно считать не столь бедственной, принимая во внимание, что смерть почти предупредила скорбь, мне же давала ее долгое время, дает помимо моей воли и будет давать, все усиливая.

После нее, исполненной такой печали, мне видится Корнелия, которую судьба так вознесла, которая сначала была супругой Красса, затем великого Помпея, что доблестью достиг владычества над Римом; потом она почти бежала (когда судьба переменилась) с мужем сначала из Рима, затем из Италии, преследуемые Цезарем. После многих несчастий оставленная им на Лесбосе, дождалась там его самого, потерпевшего поражение в Фессалии и потерявшего свои войска. Но, кроме того, последовала за ним в Египет, уступленный самим Помпеем юному царю и куда он отправился морем, ища восстановить свою власть покорением Востока, — и там нашла в морских волнах лишь его обезглавленный, опозоренный труп. Все эти бедствия вместе и каждое в отдельности должны были, без сомнения, сильно удручить ее душу; по мудрые советы Катона Утического и отсутствие надежды на

возвращение к жизни Помпея в короткое время утешили ее скорбь; меж тем как я пребываю, тщетно надеясь и не будучи в состоянии прогнать эту надежду, без утешителя и советника, кроме старой кормилицы, поверенной моих бедствий, более преданной, нежели рассудительной (потому что, не раз желая исцелить мои муки, она их только усиливала).

Многим кажется, что бедствия Клеопатры, царицы Египетской, превосходят значительно все мои, потому что немала была ее горечь после совместного царствования с братом быть вверженной в темницу, но она смягчалась надеждою на помощь; выйдя из темницы и сделавшись подругою Цезаря, затем покинутая им, она легко могла бы показаться достигшей высшей скорби, если бы не коротка была любовная тоска того или той, у которых желанье быстро переходит с одного предмета на другой, чему она частые давала доказательства. Если бы Бог дал мне такое утешение! Не было и нет никого (кроме того, кто закономерно мог бы это сделать), кто имел бы право сказать, что ему, а не Панфило я принадлежала, живу и буду жить такую же; не думаю, чтобы любовь к кому-нибудь другому смогла вытеснить его из моей памяти. К тому же хотя она и горевала по отплытию Цезаря, но горе ее утешалось более сильной радостью иметь от него сына и быть восстановленной в царском достоинстве. Такая радость смогла бы победить печали и не такой женщины, как она, которая, как я уже сказала, любила ненадолго.

Но, к усилению ее печали, она вышла замуж за Антония, возбудила его льстивыми ласками к междоусобной войне против брата, как бы надеясь этой победой достигнуть высоты Римской империи; после же двойного проигрыша со смертью мужа и лишением надежды она представляется горестнейшей меж женщин. Действительно, даже если не считать смерти столь дорогого супруга, огромная печаль — одним сражением потерять высокую мечту всемирного господства, но она нашла скоро единственное лечение скорби, то есть смерть, хоть и жестокою, но не длительною, ведь в краткий час две змеи из груди могут высосать и кровь, и жизнь. Сколько раз от горести, не меньшей, чем ее (пусть многим кажется, что по причинам меньшим), хотела я последовать ее примеру, но меня не допускали или удерживала боязнь позора!

Приходит мне на память величье Кира, кроваво Тамиридой умерщвленного, огонь и вода Креза, богатое цар-

ство Персея, великолепье Пирра, всемогущество Дария, жестокость Югурты, тиранство Дионисия, гордость Агамемнона и многое другое. Все были поражены бедствиями, подобными вышеописанным, или других оставили безутешными; всем им внезапные причины помогали, так что не могли они почувствовать всей тягости, не будучи в ней долгое время, как я была.

Меж тем как я в уме перебирала древние бедствия, как вы слышали, ища трудов и слез, что были бы подобны моим, чтоб я, имея сотоварищей, не так печалилась, мне вспомнились горести Тиеста и Терей, что оба погребли в себе плачевно своих детей. И я не знаю, какая сила уже их удержала вскрыть свои внутренности острым мечом, чтобы открыть выход непокорным детям, ненавидящим место, куда они вошли, и опасаясь жестоких укусов, не имея иного места для других детей. Но они, как могли, в одно и то же время угасили и гнев, и печаль и гибелью почти утешились, сознавая, что без вины несчастными народ их сделал; со мной же этого не случилось. То, что боли мне давало, спискивало состраданье, а муки мои открыть я не смела; а если бы посмела, имела, как и другие, утешенье.

Приходят мне на ум слезы Ликурга и его семейства при известии о смерти Архемора от змеи, и слезы Аталанты, матери Партенопей, павшего под Фивами; их чувства мне так близки и так понятны, что даже если б я испытала что-нибудь подобное, лучше оценить их не могла бы. Полны они невыразимой горести, но каждый с такою славой в вечность перешел, что этому почти можно было бы радоваться; семь царей почтили погребение Ликурга и учредили бесчисленные игры, а Аталанта прославлена жизнью и кончиною своего сына. Мои же слезы ничто не вознаградило; а если б это было, то я, считавшая себя несчастней всех на свете и бывшая, может быть, таковою, скорей могла бы утверждать противное.

Представляются также мне труды Улисса, смертельные опасности, чрезмерные события, претерпленные им не без печали; но мои я почитаю большими, и вот почему. Во-первых, и самое главное то, что он был мужчиною; следовательно, по природе более вынослив, чем нежная и молодая женщина, крепкий и смелый, привыкший к трудам и бедствиям, сроднившийся с ними, он за покой считал труды; мне же, нежной, среди изнеженности в комнате моей, привыкшей к уладам сладостной любви,

малейшее страданье тяжело; он был гоним и в разные края носим Нептуном, и от Эола терпел гоненье, а я мучусь неутомимым Амуром, владыкою и победителем Улиссовых мучителей; и если ему встречались смертельные опасности, он сам искал их (а кто может пенять, найдя то, чего искал?), я же, несчастная, охотно бы жила в покое, если б могла, и постаралась бы избежать того, к чему была принуждена. К тому же он не боялся смерти и полагался на свои силы; я же ее боюсь и, вынуждаемая скорбью, часто стремилась к ней. Он ждал от своих трудов и опасностей вечной славы; я же от своих, если б они были открыты, могла бы получить только позор и нареканье. Так что его страдания моих не превосходит, но значительно превзойдены; тем более что написано о нем гораздо больше, чем было на самом деле, мои же бедствия гораздо многочисленней, чем я могу рассказать.

После всех этих тяжкими мне кажутся вопросы Ипсипилы, Медеи, Эноны и Ариадны, слезы и скорбь которых считаю очень похожими на мои; потому что каждая из них, обманутая своим возлюбленным, как я, пролиwała слезы, испускала вздохи и бесплодные страдания терпела; хотя, если они скорбели, как я, то слезы их окончились праведною местию, мои же не пришли еще к такому концу. Ипсипила, почитавшая Ясона, связанная с ним законными узами, увидев его отнятым Медеею, как я, конечно, имела основанье горевать; но провиденье, праведным на все взирающее оком (только не на мои страданья), вернуло ей отчасти желаемую радость, дав увидеть, как Медея, отнявшая у нее Ясона, сама покинута им для Креузы. Конечно, я не говорю, что мои страданья прекратились бы, случись подобный случай с той, что у меня похитила Панфило (если не я его отняла бы у нее), но скажу, что отчасти уменьшились бы. Медея также местию усладила, хотя жестокою к самой себе явилась не менее, чем к неблагодарному любовнику, убив в его присутствии своих детей от него и спаливши царских гостей вместе с повой возлюбленной. Энона, также пробывши в горе долгое время, наконец увидела, что неверный и бесчестный любовник понес заслуженную кару за поправный закон и вся страна его попалапа огнем; но я предпочту свои печали такому мщенью.

Ариадна, сделавшись супругою Вакха, увидела с неба, как обезумела от любви к пасынку та Федра, что прежде согласилась оставить ее на острове, чтобы самой при-



надлежать Тесею. Так что, все передумав, себя считаю я первой по несчастью.

Но если, милостивые мои дамы, рассуждения мои вы почитаете пустыми и слепыми, как доводы ослепленной любовницы, считая слезы других большими, нежели мои, тогда последнее, единственное добавление я сделаю. Завистник всегда несчастнее того, кому завидует; из всех вышеприведенных я наиболее несчастная, потому что я завидую их несчастьям, считая их меньшими, нежели мои.

Вот, господа, как сделала меня несчастной древняя обманщица Судьба; к тому же, подобно лампе, которая, перед тем как погаснуть, вспыхивает большим огнем, так сделала и она; потому что, дав мне, по-видимому, некоторое облегчение, снова еще более несчастной меня сделала. И, отложив все другие сравнения, одним вам постараюсь объяснить новые скорби и утверждаю с тою серьезностью, с какою могут утверждать подобные мне несчастные, что теперь мои страдания настолько тяжелее, насколько возвратная лихорадка при одинаковом приходе холода и жара сильнее поражает больных, чем первая. Но так как усиление страданий, но не выражений могла бы я вам дать еще, если я вас несколько растрогала, чтобы не падоест длительностью рассказа, способного вызвать слезы, если кто-нибудь из вас их проливал или проливает, и чтобы не тратить времени, которое определено мне на плач, а не на повествования,— я решаюсь умолкнуть, уверяя, что рассказ мой по сравнению с тем, что я чувствую, есть как нарисованный огонь по сравнению с настоящим, который жжет, пылая. Молю Бога, чтоб он ради ли ваших молитв, ради ли моих послал на это пламя воду моей ли смертью горестной или радостным Панфило возвращением.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой Фьямметта обращает речь к своей книге: каким образом, куда и к кому идти ей и кого беречься; и заканчивает повесть

Маленькая моя книжечка, как будто извлеченная из гробницы твоей хозяйки, вот ты пришла к концу, как я желала, быстрее, чем мои печали идут; влюбленным желанием тебя я представляю такую, как ты есть, написанную моей рукою и часто орошенною моими слезами. Если

тебя вести будет сострадание (как я надеюсь), они тебя охотно примут, и, если законы любви еще не изменились, не стыдись в такой скромной одежде явиться хотя бы к самой знатной из них, раз она тебе в приеме не отказывает. Тебе не нужно другой внешности, кроме той, что я тебе дать пожелала: ты должна быть довольна походить по виду на мое житье, что, будучи несчастнейшим, тебя облекло в плачевную одежду, как и меня. Итак, не заботься ни о каком украшении (как это делают другие), ни о роскошной обертке, разноцветно украшенной, ни о гладком обресе, ни о прелестных миниатюрах, ни о заставках: не подходит все это к тем жалобам, что заключаются в тебе; оставь широкие поля, разноцветные чернила, лощеную бумагу счастливым книгам; тебе же пристало идти с растрепанными волосами, исполненной пятен туда, куда тебя я посылаю, и возбуждать рассказом о моих бедствиях святую жалость в тех, что будут тебя читать; если знаки ее заметишь на прекрасных лицах, вознагради за это, как можешь. Не так мы с тобой низвергнуты судьбою, чтобы не быть в состоянии дать того, что могут дать несчастные; пример для тех, кто счастлив, чтобы они обуздали свое благополучие, боясь сделаться нам подобными; поставь (как это ты можешь) им в пример меня, чтобы, если они и осторожны в любви, то сделались еще осторожнее ввиду тайных обманов со стороны молодых людей, страшась подвергнуться нашим несчастиям.

Иди; не знаю, какой шаг тебе подходит: спешный или спокойный, не знаю, в какие места тебе прежде всего следует направляться; не знаю, как и где ты будешь принята; куда судьба тебя направит, туда и иди, твой путь едва ли может быть определен; все звезды покрыты тучами, да если б даже все они были видны, жестокая судьба лишила тебя возможности сообразить по ним свое спасение; итак, тебя я покидаю, как судно, без руля и без ветрил брошенное в море; и постунай различным способом сообразно различию места.

Если ты попадешь случайно в руки тех, что так счастливы в своей любви, что наши страдания высмеивают и принимают за безумные, так смиренно переноси их насмешки, которые лишь незначительная часть наших несчастий, а им напомни о превратности судьбы; она ведь может нас с ними поменять местами и смехом отплатить за смех. Если же тебе встретится, которая при чтении прослезится над нашими бедствиями и свои слезы присо-

единит к моим, той покажись печальной и жалостной и смиренно умоляй, чтобы она просила за меня того, кто, златокрылый, в одно мгновение обтекает свет, пусть он, слух преклонив к молитвам, может быть, более достойным, чем мой, страдания мне облегчит; а я, кто бы она ни была, возношу за нее свой голос, который даю несчастным и который доходчив до неба, чтоб никогда с нею не случались несчастья, подобные моим, чтоб всегда боги были милостивы и благосклонны к ней и чтоб ее любовь счастливо, по ее желанью, длилась долгие годы.

Но если, переходя с рук на руки среди толпы влюбленных дам, ты попадешь к нашему врагу, воровке счастья нашего,— беги, как из нечестивого места, и краем не показывайся на воровские глаза, чтобы вторично не доставить ей удовольствия чтением о моих несчастьях, виновницей которых была она; если же насильно тебя удержит и захочет прочесть, пусть мои беды исторгнут у нее не смех, но слезы, чтобы она засовестилась и вернула моего возлюбленного. Как будет счастлива такая жалость и как плодоносны твои труды!

Беги очей мужчин и, если попадешься им на глаза, скажи: «Неблагодарная порода, обманщики глупых женщин, вам не пристало видеть благочестивые вещи». Но если попадешься тому, кто корнем был моих бедствий, издали ему закричи: «Ты, что непреклонней дуба, беги отсюда, не прикасайся ко мне, насильник! Твоя измена родила все заключенное во мне. Но если хочешь, как рассудительный человек, меня прочесть, читай и, может быть, расскажешься в вине пред той, что ждет твоего возвращения, чтобы простить тебя; но если этого желанья ты не имеешь, неприлично смотреть на слезы, что льются из-за тебя, особенно если ты упорствуешь в прежнем желаньи их усугублять». Если же какая-нибудь дама удивится грубости твоего языка, скажи ей, что грубое такого же языка и требует, а украшенной речи лишь души ясные и времена спокойные ищут. Скорей удивительно, скажи, что хватило силы у духа и руки написать эту краткую беспорядочную повесть, принимая в соображение, что все время печальную душу должны были угнетать любовь и ревность.

Ты можешь совершенно засады не страшиться, никакая зависть тебя не укусит, лишь тому позволь это сделать, кого найдешь, в чем я сомневаюсь, несчастнее себя, который тебя считал блаженнее, чем он. Я даже не знаю,

куда тебя можно поразить, так ты истерзана вся судьбою, более изранить тебя невозможно, ни ниспровергнуть еще ниже. Если бы даже судьбе все не хватало и она пожелала бы нас стереть с лица земли, то мы так закалились в бедствиях, что теми же плечами, которыми выдерживали и выдерживаем их доселе, меньшие выдержим легко; итак, пусть делает что хочет.

Живи, ничто тебя не лишит жизни, служи через страданья своей хозяйки примером вечным для всех счастливых и несчастных.

## ПОЯСНЕНИЯ БОККАЧЧО

### К «ФЪЯММЕТТЕ»

К стр. 158. *Кадм* был сыном царя Агенора, правившего Сидомом. У него был брат по имени Феникс и сестра по имени Европа, которую похитил Юпитер, обернувшись быком. Царь Агенор послал Кадма и Феникса на поиски их сестры Европы. Отчаявшись найти ее, Кадм прибыл в Беотию, где возле грота сразился со змеем и одолел его. Там же посеял Кадм зубы змея, из которых взошли вооруженные воины; едва лишь выбросила их земля на поверхность, как они поубивали друг друга.

*Лакесис* — одна из трех богинь, отмерявших жизнь человека.

К стр. 160. *Прозерпина* была дочерью богини Цереры, родом из Сицилии. Когда Прозерпина собирала цветы у подножия горы Этны, ее похитил Плутон, владыка преисподней. Он утащил ее в свое царство и сделал женой. И потому говорит Данте:

Ты кажешься мне юной Прозерпиной,  
Когда расстаться близится черед  
Церере — с ней, ей — с вешнею долиной.

*Эвридика* была женой Орфея. Беззаботно гуляя по лугу, наступила она на змею, и та ужалила ее в пятку. Тут же скончалась Эвридика и очутилась в аду. Ради нее отправился в ад Орфей, и так дивно он играл на кифаре, что вернули ему Эвридику, но с одним условием — на обратном пути он не должен смотреть назад. Но у самого выхода благоразумие покинуло Орфея; желая увериться, идет ли жена следом, он оглянулся и вновь потерял ее.

*Атрей* был братом Тиеста, сыном Тантала, отцом Агамемнона и Менелая. Он изгнал из царства своего брата Тиеста, ибо тот согрешил с его женой. Мысль о мщении не оставляла Атрея, и под предлогом, что он хочет помириться с братом, Атрей уговорил Тиеста вернуться. На самом деле он задумал неслыханное зло: велел убить сыновей Тиеста и подать их мясо отцу на обед. Разгневаные боги сделали так, что солнце над землей не поднималось два дня.

К стр. 161. ...как богини, сошедшие к Парису. — Здесь Фьямметта имеет в виду пир, на который были приглашены все боги и богини, кроме богини раздоров из долины Иды. Та разгневалась и, желая рассорить пирующих, подбросила им золотое яблоко редкой красоты, на котором было написано: «Предназначено самой прекрасной». Паллада, Венера и Юнона — каждая требовала яблоко, доказывая, что оно принадлежит именно ей. Рассудить

спорящих велено было Парису: ему предстояло решить, кому из них предназначается яблоко. Суд состоялся в роще Иды возле Трои, куда и сошли три прекрасные богини, употребив все свое искусство, чтобы казаться еще лучше. Каждая обещала Парису свою великую милость: Паллада — сделать его самым разумным, Венера — дать в жены самую красивую женщину, Юнона — сделать его самым могущественным и богатым. И судья решил, что яблоко принадлежит Венере. Потому и говорит Фьямметта, что она пустила в ход все свое искусство, чтобы показаться Панфило как можно красивее.

К стр. 168. *...святейшая Венера...* — Венера имеет двойкий облик: Венера законная и Венера запретная. Первая соединяет жену и мужа, потому и зовется святейшей; вторая внушает мужу желание обладать чужой женой, как своей, а жене — страсть к чужому мужу, как к своему собственному.

К стр. 170. *Феб* — так поэты называют солнце.

*Ганг* — это река, которая протекает на востоке, отчего полагают, что Феб поднимается каждое утро из ее вод.

*Гесперидские воды* — море, омывающее Испанию.

*Арктур* — это звезда, которая царит зимой.

*...наш сын крылатый...* — то есть Купидон, который царит в восьмой сфере, что превышает всех других семи планетных сфер.

*Феб, победивший великого Пифона...* — Феб был богом мудрости и красноречия. Пифон — змей, которого Юнона наслала на мать Феба Латону. Мстя за оскорбление, нанесенное его матери, Феб убил Пифона.

*...настроивший парнасскую кифару...* — Парнас — гора в Беотии, возле города Фивы, где в древности была школа поэтов, посвященная Фебу — богу мудрости и красноречия. Там же был священный источник муз; каждый, кому доводилось испить из него, становился поэтом.

*Дафна*, прекрасная юная дочь Пеней, была первой любовью Феба. Спасаясь от преследовавшего ее бога, Дафна молила о помощи отца своего Пеней, и тот превратил ее в дерево, которое назвал лавром. Лавровые гирлянды с тех пор постоянно носил Феб, ими же венчают поэтов.

*Кимена* была матерью Фазтона. В нее влюбился Феб, она пошла от него и родила Фазтона. Однажды тот попросил у отца своего Феба позволения править солнечной колесницей. Феб согласился, но Фазтон не смог управлять ею, отчего и погиб.

*Левкотоя* была дочерью Оркама, царя Ахимении, и Эвриномы. В нее влюбился Феб и, не видя иного способа обладать ею, принял облик матери Левкотой Эвриномы и таким образом достиг цели.

*...из-за многих других.* — Феб влюблялся и во многих других, о которых здесь не упоминается: ни о Цирцее, ни о Клитии, которую он превратил в гелиотроп. И потому говорит Овидий:

Vertitur ad Solem mutataque servat amorem.

*...влюбленный, нас он стада Адмета.* — Феб влюбился в дочь фессалийского царя Адмета. Горя желанием находиться поближе к ней, он обернулся пастухом и сторожил стада Адмета. Таким путем он мог предаваться любви с дочерью Адмета.

*...под видом белой птицы...* — Юпитер влюбился в Леду и, не зная, как добиться ее любви, обернулся лебедем. Когда Леда вышла на берег моря, он в облике лебедя слетел к ее лону и обладал ею. От этого родились Кастор, Поллукс и Елена, которую затем похитил Парис, и т. д.

*...то, обернувшись тельцом...* — На этот раз Юпитер влюбился в Европу, дочь царя Агенора, сестру Кадма и Феникса, и не знал, как добиться ее. Однажды, когда Европа собирала цветы на лугу, Юпитер, обернувшись тельцом, приблизился к ней и стал всячески ласкаться. Покорность тельца пришлась по душе Европе, и она решилась сесть ему на спину. В тот же миг Юпитер умчал ее, пересек море, прибыл на Крит, где смог обладать ею.

*То же он сделал для Семелы...* — Нимфа Семела была дочерью Кадма, в нее был влюблен Юпитер, от которого она родила Вакха.

*Алкмена* была женой Амфитриона, в нее влюбился Юпитер и, стремясь остаться с нею наедине, принял облик Амфитриона и таким путем добился ее, отчего родился Геракл.

*Каллисто*, юная девушка из Аркадии, была дочерью Ликадиона; она была посвящена Диане, богине лесов и охоты. В Каллисто влюбился Юпитер и обладал ею, приняв для этого облик Дианы. Каллисто понесла и родила Аркада, который тоже вырос охотником. Юнона, стремясь отомстить ей за Юпитера, превратила Каллисто в медведицу. Аркад, который был, как уже сказано, сыном Каллисто, пошел на охоту и повстречал медведицу. Никак не подозревая, что это его мать, он натянул лук, готовясь поразить зверя. Но Юпитер в награду за любовь, которую дала ему Каллисто, вознес ее на небо вместе с Аркадом. Вот почему существуют Большая Медведица и Малая Медведица.

*Даная* была дочерью царя Акрисия. В нее влюбился Юпитер, и так как Даная заточили в башню, он проник к ней в виде дождя. От их любви родился доблестный воин Персей, который впоследствии отрубил голову Медузе, чей взгляд превращал людей в камень.



...и гордый бог войны... — Марс, бог войны, влюбился в Венеру, которая была женой Вулкана, кузнеца Юпитера, и предавался любви с нею. Феб выдал Вулкану их секрет, и тот, желая отомстить любовникам, выковал железные сети, столь тонкие, что они были невидимы. Сети он развесил у ложа, где они предавались любви, и когда Марс возлег с Венерой, оба запутались в них, как птицы в силке. Так и застиг их Вулкан и, чтобы хорошенько пристыдить, созвал всех богов, и все боги явились.

*Трезубая молния.* — Молнию называют трезубой, потому что она производит тройственное действие: расщепляет, сжигает и изгоняет.

*Адонис* был сыном Мирры, дочери Кинира. Она влюбилась в отца и, обманув его, предавалась с ним любви, отчего родился Адонис, который вырос прекрасным охотником. В него влюбилась Венера, богиня сладострастия. Адонис погиб на охоте в погоне за диким кабапом. Венера спешила к нему на помощь, но не успела. Безутешно рыдала она над телом возлюбленного и обратила его в цветок. Обо всем этом рассказывает Овидий в конце десятой книги «Метаморфоз».

К стр. 171. ...грозную львиную шкуру... — По повелению своей мачехи Юноны, которая давала ему чудовищные поручения, Геракл отправился в Немейскую рошчу, где обитал лев, пожиравший всех, кто проходил мимо. Тяжело досталась Гераклу победа. Одолев льва, Геракл снял с него шкуру и в честь этой битвы постоянно носил ее.

...великого Антея... — Снова Юнона дала поручение Гераклу, па этот раз она послала его в Ливию, где он сразился с силачом-гигантом Антеем. Как только Антей касался земли, силы его удваивались, и с великим трудом Геракл одолел его.

...и вывела из ада пса... — то есть трехглавого Цербера, охранявшего вход в ад. Когда ради Тесея, который хотел увести Прозерпину, Геракл направился в ад (о чем рассказывает Сенека в первой трагедии), то при возвращении ему удалось силой связать и увести с собой Цербера, адского пса.

*Клитемнестра* была женой Агамемнона; во время похода мужа на Трою она осталась дома, и вот в его отсутствие она влюбилась в Эгиста и совершила с ним плотский грех. Когда Агамемнон вернулся победителем из Трои, она убила его, накинув ему на голову одеяние.

*Скилла* была дочерью царя Ниса, она влюбилась в критского царя Миноса, который враждовал с ее отцом, царем Нисом. На голове последнего рос золотой волос, который делал его непобедимым на войне. Чтобы угодить своему возлюбленному Миносу, Скилла отрубила отцу голову и преподнесла ее Миносу, отчего,

указывает Овидий, она превратилась в жаворонка, а отец ее — в яблика. Вот почему яблик — вечный враг жаворонка.

*...наши голубки...* — Поэты полагают, что голубки посвящены Венере.

*Нептун*, бог моря, влюбился в прекрасную юную дочь Нития из Фессалии, которую звали Феникс. Когда она гуляла вдоль моря, Нептун схватил ее и наслаждался ею. Желая отблагодарить ее, бог обещал исполнить любое желание девушки. Феникс захотела стать мужчиной, так и было. Кроме того, Нептун сделал так, что Феникс стал неуязвимым для железного оружия. Потом он погиб в бою с лапидами, ибо на него свалилось дерево, и он превратился в птицу, которую зовут Фениксом.

*Алфей*. — Его именем называется река в Греции, в Ахайе. Он влюбился в Аретусу, служительницу Дианы. Убегая от Алфея, Аретуса звала на помощь свою богиню и, выбившись из сил в борьбе с Алфеем, обратилась в реку, названную его именем.

К стр. 172. *Семирамида* была женой царя Нина, царицей Вавилона. Она влюбилась в собственного сына и издала неслыханные законы, согласно которым мать могла предаваться любви с сыном, а сестра — с братом.

*Библида* была дочерью Милета, мать ее звали Кианой. Библида влюбилась в собственного брата по имени Кавн. Поскольку любовь ее была безысходна, Библида обратилась в источник, названный ее именем, о чем и говорит Овидий:

Sic lacrimis consumpta suis Phoebeia Biblis  
Vertitur in fontem, qui nunc quoque vallibus illis  
Nomen habet dominae nigraque sub ilice manat.

*Клеопатра* была сестрой египетского царя Птолемея. Она была до такой степени сладострастной, что воспылала похотью к брату, за что тот заключил ее в тюрьму и лишил доли царства. Когда вслед за Помпеем в Египет пришел Цезарь, Клеопатра влюбилась в него. Цезарь освободил ее из тюрьмы, обладал ею и вернул причитавшееся царство. После смерти брата Клеопатра стала править Египтом.

К стр. 187. *Эрисихтон*, родом из Фессалии, слыл величайшим богоненавистником. Чтобы доказать свое презрение Церере, он вырубил рощу, где рос гигантский дуб, посвященный богине. Разгневанная Церера наслала на него такой голод, что Эрисихтон ничем не мог насытиться и пожрал самого себя. Церера была богиней плодородия.

*Изида*. — На острове Крит жил бедняк по имени Лигд, у него была жена, которую звали Телетуса. Когда она затяжелела,

Лигд наказал ей, что если она родит сына, то пусть выкормит, а если дочь — утопит, потому что не хотел обручать ребенка с пищетой. Горько тосковала Телетуса, и однажды привиделась ей во сне Изида, которой поклоняются египтяне, населяющие долину Нила. Богиня утешила женщину и велела ей сберечь девочку, которая должна родиться. Вскоре Телетуса разрешилась от бремени и обманула мужа, сказав ему, что родила сына. Она нарекла ребенка Ифис — по имени деда, растила его и одевала как мальчика. Так прошло восемь лет, Телетуса подыскала ему в невесты девочку по имени Ианта. Подходило время свадьбы, и мать молила Изиду, по чьей воле она спасла дочь, сделать Ифис мужчиной, чтобы он мог предаваться любви с Иантой, своей женой. Склонилась к мольбе Изида и в первую же ночь обратила Ифис в мужчину.

К стр. 193. *Арунс*. — Согласно Лукану, он был величайшим астрологом. Для того чтобы созерцать звездное небо, он поднимался на гору возле города Луни, что около города Лукка, где добывали белый мрамор. Оттуда он предсказал битву между Помпеем и Цезарем, что случилось в Фессалии.

К стр. 198. *Ахеменид*. — Согласно Вергилию, Гомеру и Овидию, это один из спутников Улисса, который остался на острове Сицилия, у подножия скалистой горы Этны, куда Улисса забросила судьба в его странствиях после разрушения Трои. Ахеменид пахотился там до появления Энея, чьи потомки основали впоследствии Рим. Эней сжалился над Ахеменидом, несмотря на то, что тот был греком, и взял его на свой корабль, и таким образом Ахеменид спасся от рук циклопа Полифема, который хотел пожрать Улисса и всех его спутников.

К стр. 201. *Улисс и Диомед Дейдамии*... — Здесь нужно знать то, о чем рассказывает Стаций в «Ахиллеиде»: когда Фетида разрешилась Ахиллом, она пыталась судьбу, чтобы узнать о будущем сына. Ей было предсказано, что Ахилл погибнет под Троей. И потому, когда греки задумали идти войной на Трою и разыскивали Ахилла, Фетида, прослышав об этом, забрала сына у Хирона, который учил его владеть оружием, и отправила на остров Скирос, поручив отцу Дейдамии и переодев в женское платье, чтобы никто не смог признать в нем мужчину. На том острове Ахилл предавался любви с Дейдамией, и она родила от него Пирра. Когда до греков дошла весть о том, что Ахилл живет на острове Скирос, носит женское платье, которое делает его неузнаваемым, они послали туда Улисса и Диомеда. Те прибыли на остров под видом бродячих торговцев, сошли с корабля и направились к царю, отцу Дейдамии. Греки разложили перед Дейдамией и ее сестрами, среди которых скрывался Ахилл, богатые украшения. В то время как девушки примеряли

драгоценности, Ахилл схватил меч и щит и стал потрясать оружием; щит и меч греки взяли с собой специально, чтобы опознать Ахилла. Преуспев в этом, они увезли его в Трою, где Ахилл и погиб.

К стр. 203. *...несчастному Эдипу*. — Согласно Сенеке и Стацию, Эдип был сыном Лая, царя Фив, и Иокасты. Когда мать носила Эдипа в чреве, боги предсказали Лаю, что у него родится сын, который явится причиной его смерти. Поэтому Лай приказал Иокасте умертвить ребенка, как только она разрешится от бремени. Вскоре Иокаста родила мальчика редкой красоты и, увидав, как он хорош, раздумала его убивать и велела слугам отнести его в лес. Те прокололи ему ножки и привязали ивовым прутом к дереву. Эдипа нашли пастухи и отдали Полибу, царю Коринфа, который его и воспитал. Эдип вырос и однажды встретил, к несчастью, отца своего Лая, вступил с ним в драку и убил его, после чего Эдипу выпала судьба жениться на матери своей, Иокасте, которая, не зная, кем ей приходится супруг, родила ему четырех детей: двух мужского и двух женского пола; мальчиков нарекли Этеоклом и Полиником, а девочек — Исменой и Антигопой. Впоследствии Эдип узнал, что убил отца и вступил в брак с собственной матерью. Безумное отчаяние охватило его при мысли об убийстве Лая и мерзком беззаконии, которое он сотворил со своей матерью, и Эдип ослепил себя. Сыновья его поделили Фиванское царство и погибли в братоубийственной распре. Об их смерти проникновенно говорит Стаций в одиннадцатой книге:

Ite truces animae funestaque Tartara leto  
Polluite, et cunctas Erebi consumite poenas!  
Vosque malis hominum, Stygiae, iam parcite, divae:  
Omnibus in terris scelus hoc omnisque sub aevo  
Viderit una dies, monstrumque infame futuris  
Excidat, et soli memorent haec proelia reges.

К стр. 205. *Дочери Даная*. — У Даная было пятьдесят дочерей, а у брата его Эгиста — пятьдесят сыновей, которые женились на своих двоюродных сестрах. Всем дочерям Данаю наказал убить мужей в первую же ночь: он боялся наследников и хотел оставить за собой оба царства. Дочери повиновались, и лишь одна, по имени Гипермнестра, мужем которой был младший сын Эгиста по имени Ливкей, ослушалась отца. Поэтому из пятидесяти сыновей Эгиста уцелел лишь один. Данаю был сыном Бела.

К стр. 206. *Нарцисс* был сыном нимфы Лириопы и Кефиса. Желая узнать, какая судьба ожидает их сына, родители обратились к прорицателю по имени Тересий, который был отцом Манто,

основавшей впоследствии город Мантую. Тересий сказал им, что Нарциссу суждена долгая жизнь в том случае, если он не познает самого себя. Посмеялись над этим ответом Кефис и Лириопс. Время шло, и в их сына влюбилась нимфа по имени Эхо. Так как Нарцисс не отвечал ей взаимностью, то Эхо посулила ему встретить такую любовь, которая будет для него недосыгаема. Случилось так, что однажды Нарцисс, утомившись во время охоты, склонился к ручью, чтобы напиться, и увидел в воде свое прекрасное лицо, и влюбился в самого себя. Поскольку он не мог соединиться с самим собой, то исчах от любовной тоски, и боги превратили его в цветок, о чем и рассказывает Овидий:

Credule, quid frustra simulacra fugacia captas?  
Quod petis est nusquam; quod amas, avertere, perdes.

*Аталанта* была дочерью царя Схенея. Она была дивно хороша собой и легка на ногу, ни один мужчина не мог превзойти ее в беге. Аталанта поставила условием, что станет женой того, кто сумеет ее обогнать, а проигравшему отрубят голову. Многие поплавились за это жизнью, но участь неудачников не испугала Мегарова сына Гиппомена, который, пленившись красотой Аталанты, решил состязаться с нею. Красота Гиппомена поразила Аталанту, и, когда она узнала, что он хочет бежать с ней, в ее сердце шевельнулась жалость, и она решила проиграть Гиппомену. Накануне состязания Венера подарила Гиппомену три золотых яблока и сказала: когда будешь на полпути, брось яблоко, Аталанта увидит его и непременно поднимет, ты же побежишь дальше, затем брось второе, а третье бросишь в самом конце пути — так тебе удастся ее опередить. Гиппомен так и сделал, обогнал Аталанту и взял ее в жены. Он повел ее к себе домой, и путь их лежал мимо храма Кибелы, праматери всех богов. Они зашли туда передохнуть, и юноша, не будучи слишком воздержан, предался в храме любви с Аталантой. Оскорбленная таким неуважением, Кибела превратила их во львов и впрягла в свою колесницу. Эта история дала Овидию повод написать стихи:

Pro thalamis celebrant silvas; aliisque timendi  
Dente premunt domito Cybeleia frena leones.

К стр. 211. ...*томный брат жестокой смерти*... — То есть Соп, о котором повествует Овидий в «Метаморфозах», где говорится:

Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum,  
Pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris  
Fessa ministeriis mulces reparasque labori!  
Somnia, quae veras aequent imitamine formas..

...сто Аргусовых глаз... — Чтобы понять это, нужно знать, о чем говорит Овидий в первой книге «Метаморфоз»: у Инаха, царя Аркадии, была красавица дочь по имени Ио; в нее влюбился Юпитер и обладал ею, окутав ее облаком. Юнона, жена Юпитера, заметила мужа и, зная, что он нередко изменяет ей, догадалась, в чем дело. Она сошла с небес и направилась к облаку, чтобы выяснить, кто там спрятан. Увидев жену, Юпитер поспешил превратить Ио в корову. Юнона поинтересовалась, чем занят муж, и тот ответил, что любит корову редкой красоты, которая тут гуляет. Услышав такое, Юнона попросила мужа подарить ей эту корову, ибо хорошо знала, что все обстоит не так, как он рассказывает. Юпитер согласился, и Юнона приставила к корове своего пастуха, стоглазого Аргуса, чтобы тот зорко следил за ней и не давал Юпитеру возможности ее похитить: когда пятьдесят Аргусовых глаз смыкал сон, другие пятьдесят бодрствовали. Убитый горем, выпавшим на долю его возлюбленной, Юпитер направился к богу музыки Меркурию с просьбой, приняв облик пастуха, усыпить игрой на кифаре все сто глаз Аргуса. Меркурий выполнил просьбу и, когда Аргус заснул, отрубил ему голову. Юнона, узнав о гибели своего пастуха, превратила его в павлина — вот почему у этой птицы такой глазастый хвост. Не успокоившись на этом, Юнона послала на корову овода, который непрестанно жалил ее; спасаясь от овода, Ио прибежала в Египет, где тоже испытала немало горя. Юпитеру, движимому состраданием к ней, удалось смягчить жену обещанием, что он больше никогда не будет искать любви Ио. Он вернул ей прежний облик и выдал замуж за египетского бога Нубия, и ее нарекли Изидой, богиней реки Нила, и так далее.

К стр. 212. *Мизен* — сын Эола; был горнистом сначала у Гектора, потом у Энея. На пути из Трои в Италию он утонул в море во время шторма. Эней похоронил его, и когда по предсказанию Кумской сивиллы направился в ад, то на дороге встретил Мизена. Об этом так говорит Вергилий в шестой книге:

Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter  
Aere ciere viros Martemque accendere cantu.

Эней, прибыв в Италию, просил совета у сивиллы, как ему спуститься в ад, к отцу своему Анхизу. Много труда, указывает Вергилий в шестой книге, стоило ей помочь Энею.

...прорицалище Кумской сивиллы... — Кумская сивилла в юности была дивно хороша собой, в нее влюбился Феб, бог мудрости. Если бы она уступила ему, то могла бы стать богиней. Добиваясь ее любви, Феб умолял девушку просить у него всего, что она пожелает, и он все исполнит. Она взяла горсть песка и сказала, что

хочет прожить столько лет, сколько песчинок уместилось в ее ладони. Феб сдержал слово, но она посмеялась над ним; он даровал ей вечную молодость, но она не просила его. Обитала она в городе Кумы в жилище, подобном пещере, где и предсказывала будущее тому, кто ее вопрошал об этом. Ответ она писала на листьях, раскладывая их по порядку на пороге пещеры, но когда захлопывалась дверь, ветер разметал листья, так что по ним нельзя было прочесть приговор судьбы. Прожила она долго, о чем говорит Овидий:

...nam iam mihi saecula septem  
Acta vides; superest, numeros ut pulveris aequem  
Ter centum messes, ter centum musta videre.

К стр. 218. *О Судьба...* — Словами Гекубы о судьбе начинаст Сенека свою трагедию о Трое:

Quicumque regno fidit et magna potens  
Dominatur aula nec leves metuit deos  
Animumque rebus credulum laetis dedit  
Me videat et te Troia...

К стр. 220. *Мидас* царствовал в одной из африканских стран; однажды он оказал пышные почести Силену — жрецу Вакха, бога вина. Когда Мидаса посетил сам Вакх, то царь с большим почетом принял его и вернул ему Силена. Желая отблагодарить Мидаса, бог Вакх обещал исполнить любое его желание. Мидас, человек на редкость жадный и алчный, захотел, чтобы все, чего бы он ни касался, становилось золотом. Ему была дарована такая милость: все, чего он касался, превращалось в золото. Скарредному царю оставалось лишь задохнуться от своего богатства. Уразумев, чем грозит ему ненасытная алчность, Мидас вновь обратился к Вакху, умоляя бога лишить его этого дара. Выслушав Мидаса, Вакх велел ему искупаться в реке Пактол: это омовение избавит его от неудобной милости, выпрошенной у бога. Мидас так и поступил, отчего река сделалась золотоносной. Стыдясь самого себя и возненавидев людей, Мидас ушел из города и скитался по лесу. Не отличаясь большим умом, он захотел состязаться в игре на свирели с пастушеским богом Паном, утверждая, что превзойдет его в этом искусстве. Состязание состоялось, и победу присудили Пану. В наказание за безумную затею Феб наградил Мидаса ослиными ушами. Мидас долго скрывал это, но кто-то из домочадцев увидел, как он стрижет волосы, и заметил ослиные уши. Эта тайна не давала ему покоя, но от страха он молчал и наконец решился пове-



дать ее земле. Тут же вырос из земли тростник и зашумел под ветром: «У царя ослиные уши». И потому говорит Овидий:

Creber harundinibus tremulis ibi surgere lucus  
Coepit, et ut primum pleno maturuit anno,  
Prodidit agricolam: leni nam motus ab austro  
Obruta verba refert, dominique coarguit aures.

...стремятся Фебу отомстить... — Как было сказано раньше, бог мудрости Феб убил Пифона, чудовищного змея, которого породила земля после потопа при Пирре и Девкалионе. Однажды в руках у Купидона, бога любви, Феб увидел лук со стрелами и стал насмеяться над ним, похваляясь тем, что он одолел змея. «Зачем, — говорил он Купидону, — тебе лук и стрелы, которые нам, мужчинам, носить подобает?» На что Купидон ему ответил: «Я заставлю тебя испытать силу моего оружия». Натянул он лук, и зазвенела золотая стрела любви, ранив Феба. В ту же минуту влюбился Феб в девушку по имени Дафна, дочь Пенея, для которой Купидон приготовил свинцовую стрелу. Свинец означал целомудрие, которое бежит всякой любви. Феб сгорал от любви, а Дафна не желала ему ответить; он долго преследовал девушку, она уже выбилась из сил, стала кричать и молить о помощи отца своего Пенея, и тот превратил ее в лавровое дерево. Сделал Феб из листьев лавра гирлянду любви и приказал венчать ею поэтов и императоров. Об этом говорит Данте в начале третьей части «Божественной комедии», с такими словами обращаясь к Фебу:

О Аполлон, последний труд свершая,  
Да буду я твоих исполнен сил,  
Как ты велишь, любимый лавр вверяя...

. . . . .  
Ее пастолько редко рвут, отец,  
Чтоб кесаря почтить или поэта,  
К стыду и по вине людских сердец.

Этого же предмета касается Овидий, говоря:

Arbor eris certe — dixit — mea. Semper habebunt  
Te comæ, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae;  
Tu ducibus Latiis aderis, cum laeta triumphum  
Vox canet et visent longas Capitolia pompas.

К стр. 223. Семирамида.— Она была царицей Вавилона, женщиной гордой и похотливой до такой степени, что домогалась любви собственного сына, о чем рассказывает в первой книге Юстиц,

*Клеопатра.* — Она была дочерью египетского царя Птолемея, который разбил Помпея. Отличалась редкой красотой и сладострастием, она была любовницей Цезаря, от которого родила сына по имени Цезарион; впоследствии Клеопатра стала женой Антония, племянника Цезаря, брата императора Октавиана. Была чрезвычайно изысканна в одежде. Покончила с собой, избрав смерть от укуса змеи.

*Кипрейская Венера* называется так потому, что ее глубоко чтят на Кипре.

К стр. 224. *Сцевола* — римлянин, сподвижник Сципиона Африканского Старшего и Лелия, большого друга Сципиона. Этот Сцевола был человеком редкого ума, ведал крупными делами в Риме, и звали его Квинтом Муцием, о чем говорит Туллий в книге «De amicitia»: «*Quintus Mutius aghur Scevola*», и прочее.

...*Катона Цензора, либо Утического...* — Известны два Катона — Катон Цензор и Катон Утический. Этот последний был наисправедливейшим человеком своего времени. Он был до конца верен Помпею и после его смерти возглавил армию. Сражаясь в Африке на стороне царя Юбы, он потерпел поражение, после чего поселился в городе Утике. Покончил с собой под влиянием книги «*De immortalitate animi*». Катон Цензор прославился своей удивительной храбростью, и прочее.

*Сципион Африканский* был римлянином: равного ему в доблести не знал Рим. Его достоинства не в силах перечислить ни один писатель.

*Цинциннат* был доблестным и отважным римлянином.

*Партенопей Аркадский.* — Партенопей был сыном Аталалпы, царицы Аркадии. Вступил в царствование, будучи почти ребенком; был прекрасно сложен, всех поражал красотой и добродетелью души. Партенопею было четырнадцать лет, когда греческий царь Адраст выступил против Фив на стороне Этеокла, сына Эдипа, о чем уже говорилось; он был в числе семи царей, которые пошли на Фивы, там он и погиб.

*Асканий.* — Этот был сыном Энея; он был хорош собой и любезен в общении.

*Деифоб* был сыном царя Приама и многих превосходил в умении владеть оружием. Он странствовал по Аттике, почему и говорит *Виргилий*:

*Deiphebe armipotens, genus alto a sanguine Teucri...*

*Геракл.* — Как уже сказано, сын Юпитера и Алкмены, он был самым сильным человеком на свете, в знак чего носил гирлянду из листьев дуба или опия, это подчеркивало его могущество,

*Гектор* — сын царя Приама; искусный и бывалый воин, он погиб от руки Ахилла.

К стр. 225. ...сравнивал с новым Ахиллом. — Сын Пелея, внук фессалийского царя Эака. Был искусным и славным воином, погиб под Троей.

*Протесилай*. — Этот был царем и, как уже сказано, был влюблен в Лаодамию. В битве под Троей он первым пал от руки Гектора, ибо первым сошел с корабля. И потому говорит Овидий:

Troes, et Hectorea primus fataliter hasta,  
Protesilae, cadis...

*Пирр* был сыном Ахилла, был неумолим в бою и суров с виду. Жестоко расправился с царем Приамом. И потому говорит Вергилий:

At non ille, satum quo te mentiris, Achilles  
Talis in hoste fuit Priamo; sed iura fidemque  
Supplicis erubuit, corpusque exsanguie sepulchro  
Reddidit Hectoreum, meque in mea regna remisit.

*Менелай* — брат греческого царя Агамемнопа и сын Атрея, был женат на Елене.

*Агамемнон* был братом названного Менелая, сыном Атрея. Был жесток в бою, командовал всеми греками, выступившими против Трои, вплоть до победного конца и разорения города. Впоследствии погиб от руки своей жены Клитемнестры, о чем было сказано раньше.

*Аякс* был сыном Теламона, который, как было сказано выше, был сыном Эака и братом Пелея, отца Ахилла; матерью его была Гесиопа, сестра царя Приама, которая спасла Теламона во время первого нашествия на Трою, когда ее разрушили Геракл и Ясон, искавшие золотое руно. Аякс был доблестным и славным воином; от отчаяния, что не ему достались доспехи Ахилла, он наложил на себя руки.

*Орфей* был родом из Фракии, сыном Аполлона. Он взял в жены Эвридику, и когда та скончалась, великая любовь Орфея привела его за ней в ад. Не было равных Орфею в игре на кифаре, и он надеялся, что волшебные струны помогут ему вернуть Эвридику. Столь пленительны были звуки его кифары, что получил он жену при условии: выходя из ада, он не должен оглядываться. Но Орфей не выдержал и в самом конце обернулся и потерял Эвридику навсегда. Вот почему он никогда больше не смог прикасаться ни к одной женщине. Он бежал женской любви и перенес

вниманию на юношей, за что женщины растерзали его. Об этом говорит Овидий:

Ille etiam Thracum populis fuit auctor, amorem  
In teneros transferre mares, citraque iuventam  
Aetatis breve ver et primos carpere flores.

К стр. 226. *Как счастливы тот...* — Блаженная жизнь считается уделом тех, кто трудится в поле. Об этом, как указывает здесь автор, повествует Вергилий во второй книге «Георгики», где говорится, что если бы крестьянин мог сознавать, насколько он счастлив, он достиг бы наивысшего блаженства, возможного в этом мире; тут говорится:

O fortunatos nimium, sua si bona norint,  
Agricolae! quibus ipsa procul discordibus armis  
Fundit humo facilem victum iustissima tellus.

Лукан следующим образом показывает нам, что человек по своей натуре может довольствоваться малым и избегать излишних рассуждений вроде мыслей о смерти, как о том же свидетельствует и автор нашей книги; Лукан же пишет об этом так:

...O prodiga rerum  
Luxuries, numquam parvo contenta paratis  
Et quaesitorum terra pelagoque ciborum  
Ambitiosa fames et lautae gloria mensae,  
Discite, quam parvo liceat producere vitam  
Et quantum natura petat. Non erigit agros  
Nobilis ignoto diffusus consule Bacchus:  
Non auro murrhaque bibunt, sed gurgite puro  
Vita redit...

*Сатиры.* — Поэты считают сатиров сельскими богами, а фавнов — лесными богами, они же полагают, что дриады — это лесные богини, наяды — богини водоемов, а нимфы — речные богини.

...и ее сын *двоевидный* — то есть сын Венеры Купидон, бог любви, который являлся нагим и слепым.

К стр. 228. *Сарданапал.* — Как свидетельствует Юстин, историкограф и перелататель Помпея Трога, Сарданапал был третьим царем Вавилона, правившим после смерти царицы Семирамиды, известной, как было сказано, своей похотливостью. Вступив на

трою, Сардапанал ужаснулся, насколько развратили людей законы, изданные Семирамидой, и, будучи человеком добропорядочным, он изменил образ жизни своих подданных, ввел правила, согласно которым ограничивались чревоугодия в честь Цереры и возлияния в честь Вакха, ибо в них — исток распущенности. И поэтому говорит Теренций:

Sine Cerere et Baccho friget Venus.

*...многолюдные города пали...* — Троя погибла из-за любви Париса и Елены.

К стр. 231. *Овен* — это одно из двенадцати зодиакальных созвездий; Солнце входит в него в середине марта и остается до середины апреля.

К стр. 232. *Спурина*. — Как указывает Валерий Максим в разделе «De Verecundia», Спурин был молодым афинянином, которого природа столь щедро наградила красотой, что ни одна женщина, увидев его, не могла остаться к нему равнодушной. Будучи человеком стыдливым и непорочным, Спурин страдал оттого, что его красота вызывает греховные мысли, и решил устранить причину, которая склоняет женщин к греху, отчего и обезобразил себя, отрезал нос, разорвал рот, исказил все черты лица — во имя того, чтобы сохранить свою чистоту и не знать женщин.

К стр. 234. *Уже второй раз Солнце достигло той части неба...* — То есть Солнце снова стало под знак Скорпиона, одного из двенадцати зодиакальных созвездий. Это значит, что прошел год с той поры, как Панфило покинул Фьямметту, ибо он уехал в октябре, а Солнце входит в созвездие Скорпиона как раз в середине октября. Под знаком Скорпиона оно находилось и в тот момент, когда Фазтоп, сын Феба и Климены, управляя солнечной колесницей, сжег Землю. Об этом свидетельствует Овидий во второй книге «Метаморфоз»:

Est locus in geminos ubi brachia concavat arcus  
Scorpius et cauda flexisque utrimque lacertis.

*Энона* была молодой пастушкой из деревни под Троей. В нее влюбился Парис, сын Приама, и жил с ней как с женой до тех пор, пока ему не вернули царское имя. Когда Париса признали сыном Приама, он отправился в Грецию, похитил Елену, жену Менелая, и привез ее в Трою. Измена Париса была причиной безутешной скорби Эноны.

К стр. 236. *Агамант* был царем Фив. У него была жена по имени Ино, родившая ему двух сыновей: Леарха и Меликерта. Богиня

Юнона, которая без устали преследовала род Кадма, основателя Фив, ибо матерью Кадма была Семела, возлюбленная Юпитера, о чем сказано раньше, из ненависти к Атаманту наслала на него безумие, и тот, увидев однажды свою жену, державшую за руки малюток, принял ее за львицу с детенышами. С криком: «Расставляйте сети, ловите зверей!» — побежал он им навстречу, поймал за руку Леарха и разможил его о стену. В ужасе мать схватила Меликерта и, спасаясь от погони, бросилась с обрыва в море. Нептун, морской бог, просил Венеру даровать Ипо и Меликерту бессмертие богов, и мать стала называться Левкотоей, а сын — Палемоном, о чем и рассказывает Овидий:

Annuit oranti Neptunus et abstulit illis  
Quod mortale fuit, maiestatemque verendam  
Inposuit, nomenque simul faciemque novavit:  
Leucotheeque deum cum matre Palaemona dixit.

К стр. 239. ...невинного *Ипполита*... — Этот был сыном Тесея, царя Афин, и Ипполиты, царицы амазонок, которая впоследствии погибла. Когда Тесей отправился на противоборство с Минотавром, дочери царя Миноса — Ариадна и Федра — спасли его от неминуемой смерти. Тесей взял Федру в жены. И здесь надлежит знать то, о чем повествует Сенека в третьей трагедии: когда Тесей сопровождал в ад своего товарища Пирифоя, он оставил дома вместо себя своего сына Ипполита. Мачеха Федра воспылала к нему безумной любовью и домогалась его, но благочестивый Ипполит ее отверг. Сгорая от стыда и стараясь смыть с себя позор, Федра оклеветала пасынка перед Тесеем, сказав ему, что Ипполит хотел взять ее силой. Обезумев от горя, Тесей велел убить сына, но не смог этого сделать и изгнал его из царства. Ипполит бежал из Фив и по дороге в Коринф оказался на берегу моря. Тут же поднялась буря, и бушующие волны вынесли на берег быка, его пасть и ноздри исторгли чуть ли не море воды. Лошади Ипполита в ужасе понесли, поводья оборвались, колесница развалилась, Ипполит упал под колеса и был весь изранен. Затем врачи исцелили его и назвали Вирбием, то есть *bis vir*. И потому говорит Овидий в книге «Метаморфоз»:

Hippolitus — dixit — nunc idem Virbius esto.

К стр. 240. *Кассандра* была дочерью Приама. Природа наделила ее дивной красотой, и в нее влюбился бог мудрости Аполлон, который умел предсказывать будущее и разгадывать прошлое. Долго преследовал бог Кассандру, добиваясь ее любви, она убегала от

него и лишь после многих уговоров сдалась и обещала уступить желанию Аполлона, если он передаст ей дар отгадывать будущее. Аполлон, сгорая от любви, исполнил ее просьбу, но Кассандра насмеялась над ним и не сдержала обещания. Обманутый Аполлон уже не мог лишить ее дара предсказывать судьбу, но все же сделал так, что ей никто не верил и все считали ее безумной.

К стр. 242. *Дит* — владыка преисподней.

*Стигийских царств бессмертных...* — Стикс — это одна из рек ада, олицетворявшая печаль.

*Гарпии* — это птицы, у которых головы и шеи были чело-печи. Их было три: Аэлло, Окипета и Келено. Когда Эней прибыл на один из островов Строфады и решил передохнуть и подкрепиться, к его столу тут же слетелись гарпии, утащили пищу и зловонным пометом испакостили всю трапезу. Когда Эней натянул лук, намереваясь разогнать мерзких тварей, то, спасаясь от его стрел, провозвещая зло, гарпии, папророчили ему, что, прежде чем он попадет в Италию, где получит царство и потомки его станут основателями Рима, ему придется от голода съесть загаженную пищу. Сильно опечалился Эней от такого предсказания, и потому, говорит Вергилий в третьей книге «Энеиды»:

Ibitis Italiam portusque iurare licebit;  
Sed non ante datam cingetis moenibus urbem,  
Quam vos dira fames nostraeque iniuria caedis  
Ambesas subigat malis absumere mensas.

*Небесная медведица*. — В Аркадии жила красивая девушка по имени Каллисто. Она была служительницей Дианы. В Каллисто влюбился Юпитер и, приняв облик Дианы, предавался с ней любви. Каллисто понесла от него и родила сына, назвав его Аркадом, о чем уже говорилось. Каллисто и Аркад были превращены в со-звездия — Большую и Малую Медведицу, которые, в отличие от других светил, никогда не заходят. Поэты считают, что в этом заключается месть Юноны, которая не дает им возможности освежиться в океане, подобно другим звездам.

*Харибда* — одно из опаснейших мест в море, омывающем Сицилию, где постоянно бушуют бури. Море там никогда не бывает спокойным, и все корабли, проходящие мимо Харибды, тонут. Поэтому говорит Овидий:

Scylla latus dextrum, laevum inrequieta Charibdis.

*Сицилла* была дочерью Форкия; в молодости она славилась красотой, многие просили ее руки, но она всем отказывала и



проводила время в обществе нимф. Любимой ее подругой была Галатея, в которую был влюблен циклоп по имени Полифем. Однажды, когда Сцилла купалась в море, ее повстречал морской бог Главк, который раньше был простым рыбаком, а богом стал после того, как отведал особой травы, оживлявшей рыб. Главк влюбился в девушку, но она убежала от него, почувствовав к нему отвращение. Тогда Главк пошел к мадонне Цирцее, дочери Солнца, которая своими чарами и волшебными травами умела заставить мужчин и женщин уступать ее воле. Главк поведал ей о своей любви к Сцилле и просил о помощи. Но Цирцея, увидев, как он хорош собой, сама влюбилась в Главка и склоняла его к любви. Главк отказал ей, ибо его сердце принадлежало Сцилле. Разгневанная Цирцея, зная, где обычно в море освежалась Сцилла, направилась туда и из мести Главку постаралась внушить ему отвращение к возлюбленной. С помощью заклинаний и сока трав она превратила место купанья Сциллы в зловонное и проклятое. Когда Сцилла пришла туда и, как обычно, погрузилась в воду, ее волосы мгновенно превратились в псов, которые, не переставая, лаяли и выли, а потом сама она стала морским утесом. Это место — самое опасное в море, почему и говорит Овидий:

Scylla venit: mediaque tenus descenderat alvo,  
Cum sua foedari latrantibus inguina monstribus  
Aspicit; ac primo non credens corporis illas  
Esse sui partes, refugitque abigitque pavetque  
Ora proterva canum: sed quos fugit, attrahit una...

К стр. 243. ...*Дедаловой хитрости*... — Дедал был необыкновенно талантливым человеком и благодаря своему мастерству соорудил Лабиринт, куда заточили Минотавра. После того как Тессей убил Минотавра, царь Минос заключил в Лабиринт самого Дедала, ибо узнал, что при помощи Дедала жена его Пасифая зачала от быка Минотавра. Не имея возможности выбраться из тюрьмы, поскольку за ним был установлен неусыпный надзор, Дедал смастерил для себя и сына своего Икара, который при нем находился, крылья; укрепив их за плечами, отец и сын вылетели из Лабиринта. Дедал наказал Икару, чтобы он не поднимался слишком высоко, и объяснил почему. Но Икар не послушал отца и пожелал полететь выше, чем ему было позволено, упал в море и утонул. С тех пор это море называется Икарийским.

...*Медеиной колесницы*... — Медея была дочерью царя Эета, правившего Колхидой. Как сказано раньше, она влюбилась в Ясона и ушла с ним. Медея родила от Ясона двух сыновей, но когда узнала, что муж предпочел ей другую женщину, она в ярости

убила детей. Желая спастись от гнева Ясона, с помощью магических заклинаний Медея вызвала колесницу, запряженную драконами, которые мгновенно умчали ее. И потому говорит Овидий:

Sed postquam Colchis arsit nova nupta venenis  
Flagrantemque domum regis mare vidit utrumque,  
Sanguine natorum perfunditur inpius ensis,  
Ultraque se male mater Iasonis effugit arma.  
Hinc Titaniacis ablata draconibus intrat  
Palladias arces...

К стр. 244. *Титий* — это гигант, который был хорош собой настолько, что отважился просить о любви Юнону, жену Юпитера, и та ответила согласием. Но как только они заключили друг друга в объятия, между ними встало облако, и Титий, полагая, что это Юнона, обронил семя, отчего и родились кентавры. Желая отомстить за это отважному юноше, богиня обрекла его на такую муку в аду: каждый день коршуны рвали ему печень, а когда они улетали, печень вырастала снова, и страданиям Тития не было конца. Поэтому говорит Овидий:

Viscera preabebat Tityos lanianda novemque  
Iugeribus distentus erat...

*Тантал* был отцом Пелопа, был он невероятно жадным человеком, поэтому ему была предписана в аду такая мука: он стоял по горло в воде и не мог напиться, ибо не в состоянии был дотянуться до нее, равно как над головой его висели яблоки, а он не мог их достать. Окруженный изобилием, он страдал от голода и жажды. И потому говорит Овидий:

...tibi, Tantale, nullae  
Deprenduntur aquae, quaeque imminet, effugit arbor.

...муку несчастного *Иксиона*.... — Ему было уготовано в аду место на колесе, которое вечно вращалось и никогда не останавливалось. И потому говорит Овидий:

Volvitur Ixion et se sequiturque fugitque.

*Дочери Даная*. — За то, что они убили своих мужей и двоюродных братьев, им было суждено в аду наказание — вычерпывать корзинами воду из реки, почему они никогда не знали покоя. В связи с чем говорит Овидий:

Molirique suis letum patruelibus ausae  
Adsiduae repetunt, quas perdant, Belides undas,

К стр. 246. ...*Ясон от Ипсипилы уехал с Лемноса...* — В пояснение этого следует знать то, о чем говорит Стаций в пятой книге «Фиваиды»: там идет речь об Ипсипиле, дочери царя Тоанта с острова Лемнос. Тоант отправился покорять враждебные племена и отсутствовал очень долго. Женщины острова забыли о жертвоприношениях Венере, богине любви, за что та разгневалась, и когда мужчины вернулись с победой домой, она, желая отомстить их женам, сделала их дыхание столь зловонным, что мужья в ужасе бежали от них. Разъяренные женщины порешили убить своих мужей и вообще всех мужчин. Они привлекли к этому Ипсипилу, и та обещала им убить Тоанта, своего отца. Но из жалости к Тоанту Ипсипила не смогла этого сделать и рассказала ему о замысле женщин. Тем временем женщины убили мужчин и, полагая, что Ипсипила выполнила обещание, выбрали ее царицей. В это время на остров прибыл Ясон, искавший золотое руно. Между ним и женщинами произошло кровопролитное сражение, и он захватил остров силой. Потом Ипсипила приняла его с почестями, он обещал ей взять ее в жены, остался на Лемносе, и она зачала от него двух сыновей, но ради Медеи Ясон покинул Ипсипилу. Впоследствии женщины острова изгнали свою царицу, ибо узнали, что она пощадила отца и нарушила обещание. Никому не сказавшись, Ипсипила бежала к царю Ликургу, который взял ее в кормилицы к своему сыну по имени Архемор. Вскоре ребенок погиб от укуса змеи. Это случилось в то время, когда Ипсипила оставила его без присмотра, отойдя, чтобы показать царю Адрасту и Полинику, которые шли войной на Фивы, где может напасть их войско. Вернувшись, она пашла мальчика мертвым. Адраст, стараясь ее утешить, спросил ее, откуда она родом, и она поведала о себе. Чтобы успокоить Ипсипилу, Адраст похоронил Архемора с пышными почестями, почти такими же, какие в свое время учинил Эней при погребении отца своего Анхиза, о чем рассказывает Вергилий. На похоронах — случайно или по велению судьбы — Ипсипила узнала своих сыновей, которых родила от Ясона.

...и *прибыл в Фессалию к Медее...* — Как сказано раньше, Ясон покинул Медею ради другой женщины, о чем рассказывает в своих трагедиях Сенека. Разгневавшись, Медея убила обоих сыновей, рожденных от Ясона, сожгла царский дворец вместе с новой женой и бежала к Эгею, отцу Тесея, который принял ее с большими почестями и женился на ней. Потом Медея задумала отравить Тесея, но ее злодеяние было раскрыто, и она бежала от Эгея. И потому говорит Овидий:

Exitit hanc Aegeus, facto damnandus in uno,  
Nec satis hospitium est: thalami quoque foedere iungit.

*Парис*, сын Приама, как сказано раньше, в бытность свою пастухом влюбился в Энону и взял ее в жены. Когда Париса признали сыном Приама, он оставил Энону и женился на царице Елене.

*Тесей*. — Он был сыном царя Эгея. Он отправился в критский Лабиринт, где его мог пожрать Минотавр. Но ему удалось выбраться оттуда с помощью Ариадны, дочери царя Миноса. Он обещал Ариадне взять ее с собой, но, полюбив ее сестру Федру, которая показалась ему более красивой, оставил Ариадну. Федре было обещано, что она станет женой Ипполита, а Ариадна впоследствии вышла замуж за Вакха, бога вина. И когда Тесей вернулся, он решил жениться на Федре, хотя та и была недовольна тем, как обошлись с ее сестрой. Однажды Федра увидела своего пасынка Ипполита и вспылала к нему похотью, но он не захотел ответить ей любовью, ибо хранил обет целомудрия, данный богам, и прочее.

К стр. 247. *Что скажешь ты о Деянире...* — Эта Деянира была женой Геракла, которую он покинул, влюбившись в женщину по имени Иола. Столь безрассудна была страсть Геракла к Иоле, что он позволил ей обращаться с собой как с малым ребенком, размазывал по ее приказанию пряжу и вращал веретено — словом, делал все, что она хотела.

*Филлида*. — Она была дочерью Ликурга, царя Фракии, родом с Родопского острова. Она влюбилась в Демофонта, сына Тесея, и предавалась с ним любви. Потом Демофонт уехал, обещав Филлиде, что через два месяца он вернется, но не успел к этому сроку. Филлида ждала его и по прошествии двух месяцев в отчаянии повесилась и превратилась в миндальное дерево. Вернувшись, Демофонт вместо жены увидел миндальное дерево. Об этом рассказывает Овидий во втором послании.

*Пенелопа*. — Она была женой Улисса и целомудренно хранила верность супругу, ожидая его возвращения из разрушенной Трои. Другие воины уже прибывали домой, но корабль Улисса буря прибила к острову, где царствовала дочь Солнца Цирцея, которая влюбилась в него и долго не отпускала от себя, и Улисс забыл, что давно пора вернуться к своей жене Пенелопе.

К стр. 247, 248, 251. *Клото, Лахесис и Атропос*. — Поэты полагают, что в распоряжении трех этих фей находится жизнь человека: Клото наматывает кудель на прялку, что знаменует собой рождение человека, Лахесис отмеряет длину нити, что означает продолжительность его жизни, Атропос обрывает пряжу, что означает смерть.

К стр. 248. *Элисса*. — У нее было три имени: Элисса, Фенисса и Дидона. Как было сказано раньше, она покончила с собой из-за любви к Энею.

К стр. 249. *Библида*. — О ней говорилось раньше. Она влюбилась в своего брата Кавна, но не могла предаваться с ним любви и с горя повесилась.

*Амата*. — Как рассказывает Вергилий, она была женой царя Латина и матерью Лавинии, которую хотела выдать за Турна, царя рутулов. Она обещала это дочери, имея на то позволение мужа. Однако боги сказали Латину, чтобы он отдал дочь за чужеземца. Этим чужеземцем был Эней, которому предстояло основать Рим. Когда Эней появился в городе Лавренте, царь Латин признал в нем того человека, за которого он должен выдать свою дочь. Так он и поступил. Вследствие этого вспыхнула война, между Энеем и Турном разгорелся жестокий бой. Царица Амата, поняв, что ее желанию не суждено сбыться и дочь должна выйти замуж за Энея, а не за Турна, в отчаянии повесилась.

*Сагунт*. — Согласно тому, что рассказывает Тит Ливий о Второй Пунической войне, это город в Испании, жители которого были преданы Риму; поэтому Ганнибал, сын Гамилькара, властителя Карфагена, пересекая в начале войны Испанию, осадил Сагунт. Долгая осада привела к падению города, и римляне не пришли ему на помощь. Население Сагунта стойко держалось, сохраняя верность Риму; когда в городе выжили припасы, жители питались всякой мерзостью, вплоть до крыс. Поняв, что их силы на исходе, граждане Сагунта решили сгореть заживо вместе с городом, но не сдать Ганнибалу. Так они и поступили, и прочее.

*Абидос* — населенный остров. Когда Филипп, царь Македонский, подверг его осаде, жители острова поступили так же, как упомянутые раньше граждане Сагунта.

*...ядовитые напитки...* — То есть Фьямметта приняла решение отравиться — подобно Ганнибалу и философу Сократу. Ганнибал, как рассказывает Тит Ливий, покинул Италию после восемнадцатилетней войны с римлянами и отправился на помощь Карфагену, на который напал Сципион Африканский Старший. Ганнибал потерпел поражение, и Карфаген был побежден римлянами. После этого Ганнибал бежал к своему другу царю Прусию, рассчитывая на его содействие и помощь. Поняв наконец, что его великий почет и слава обернулись несчастьем, Ганнибал отравился ядом, который всегда носил в перстне.

К стр. 250. *Филлида*. — Как рассказывает Овидий во втором послании, Филлида, принимая в своем доме Демофонта, влюбилась в него и предавалась с ним любви. Демофонт женился на ней, но вскоре уехал, обещав вернуться, но не сдержал обещания, и прочее.

К стр. 251. *...тебя же, Меркурий...* — Он был сыном Майи, дочери Атланта, и Юпитера, был посланником богов, как указывает Овидий во второй книге, где он говорит:

Pleionesque nepos ego sum, qui iussa per auras  
Verba patris porto; pater est mihi Iupiter ipse.

Меркурий влюбился в юную дочь одного кентавра по имени Эрса, которая была самой красивой девушкой в свое время. Эрса имела обыкновение спать между своими сестрами Пандросой и Аглаврой, и Меркурий, не зная, как добиться любви Эрсы, открылся Аглавре, и та обещала ему помочь, чтобы он спал с Эрсой. Но из зависти к сестре Аглавра обманула Меркурия, и разгневанный бог превратил ее в камень. И потому говорит Овидий:

Nec conata loqui est nec, si conata fuisset,  
Vocis habebat iter: saxum iam colla tenebat  
Oraque duruerant, signumque exsanguie sedebat  
Nec lapis albus erat: sua mens infecerat illam.

По приказанию Юпитера Меркурий также принимал души умерших и отводил им в аду места согласно тому, какое наказание им было предписано. Вот почему Фьямметта просит Меркурия принять ее душу и отвести туда, где мука не столь тяжкая.

К стр. 256. *Геката* — Геката, Тривия и Диана — это одно лицо, то есть луна, которую поэты именовали по-разному. Гекату призывали на помощь ворожей, ибо она царит ночью, а этим искусством занимались обычно по ночам. Это подтверждает Овидий в книге «Метаморфоз» в заклинаниях Медеи:

Nox, — ait — arcanis fidissima quaeque diurnis  
Aurea cum luna succeditis ignibus astra,  
Tuque triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris  
Adiutrixque venis cantusque artisque magorum,  
Quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis...

*Европа*. — Как сказано раньше, ее похитил Юпитер, обернувшись быком. Впоследствии Юпитер сделал быка небесным знаком, отчего и существует созвездие Тельца. Солнце вступает в него с середины апреля, что означает приход весны.

*Зефир*. — Это нежный и сладостный ветер, который несет с собой весну и цветение садов. Поэтому о нем говорят: Зефир цветоносный.

*Борей.* — Это северный, холодный ветер, который, в отличие от Зефира, срывает листву с деревьев и вызывает листопад.

*...красою споря с восьмым небом...* — Здесь имеется в виду восьмая сфера, то есть, по мнению философов и астрологов, сфера неподвижных звезд.

*Нарцисс.* — Как сказано раньше, он влюбился в самого себя, увидев в ручье свое отражение, и потом превратился в цветок.

*Мать Вакха.* — Ею, как сказано раньше, была Семела, в которую влюбился Юпитер; от их любви родился бог вина Вакх. Автора привлекает здесь точность поэтической аллегии: Семела — это виноградная лоза, отяжелевшая от воздуха — Юпитера — и разрешившаяся затем листвою и плодами.

*...унылые Фаэтона сестры.* — Фаэтон, как сказано раньше, был сыном Климены и Феба; не умея править солнечной колесницей, он сжег землю, а сам упал в реку По, которая протекает в Ломбардии. Мать и сестры Фаэтона — Фаэтуса и Япика — отправились его разыскивать; дойдя до реки По, они нашли могилу Фаэтона и безутешно рыдали над ней. Сжалились над ними боги и превратили их в ивы, которые по сей день окаймляют берега реки По.

К стр. 257. *Икар* был сыном Дедала; как было сказано раньше, с помощью крыльев, которые смастерил его отец, он смог выбраться из Лабиринта. Он хотел взлететь как можно выше, но упал в море и утонул, отчего море было названо потом его именем. И потому говорит Овидий:

Tabuerant cerae: nudos quatit ille lacertos  
Remigioque carens non ullas percipit auras,  
Oraque caerulea patrium clamantia nomen  
Excipiuntur aqua, quae nomen traxit ab illo.

К стр. 258. *Веспер.* — Как полагают астрологи, это звезда, которая именуется также Люцифером, а в просторечии зовется утренней звездой. Веспером ее называют, когда она восходит по вечерам, то есть зимой. То, что это одно и то же светило, которое появляется в разное время, подтверждает Вергилий.

*Феба* — то есть Луна, которая сияет в лучах брата своего Солнца, почему Феба и называет себя сестрой Феба.

К стр. 262. *Алкмена* была женой Амфитриона. Чтобы угодить мужу, к его приезду Алкмена оделась как можно изысканнее. Точно так же поступила Фьямметта, когда узнала, что возвращается Панфило.

К стр. 265. *Инахова дочка.* — Как было сказано раньше, ее звали Ио. В нее влюбился Юпитер и обладал ею, окутав ее облаком, ватем он превратил ее в корову, которую, вопреки своей воле,



подарил Юноне, жене своей. Та приставила к ней сторожем своего пастуха стоглазого Аргуса, который потом погиб от руки Меркурия, после чего Ио вынуждена была спасаться бегством от гнева богини вплоть до Египта. Там ей был возвращен первоначальный облик, и она стала женой египетского царя Озириса.

*Библида.* — Как было сказано раньше, Библида — это сестра Кавна, в которого она влюбилась и, не имея возможности соединиться с ним, в отчаянии повесилась. Боги сжалились над ней и превратили ее в источник, о чем подробнее говорилось раньше.

*Мирра.* — Как сказано раньше, это дочь царя Кинира, в которого она влюбилась и по совету и с помощью своей кормилицы обманным путем предавалась с ним любви. Потом, спасаясь от гнева Кинира, она бежала; боги сжалились над ней и обратили ее в дерево, которое зовется ее именем. И потому говорит Овидий:

Flet tamen, et tepidae manant ex arbore guttae,  
Est honor e lacrimis, stillataque robore murra  
Nomen erile tenet nullique tacebitur aevo.

К стр. 266. *Канака.* — Как сказано раньше, это дочь Эола, царя ветров. Она влюбилась в одного из своих кровных братьев по имени Макарей, зачала от него и родила. Отец, прослышав об этом, заключил ее в тюрьму, где она покончила с собой.

*Пирам* был прекрасным юношей из города Вавилона; он влюбился в свою соседку, красавицу Тисбу, и условился с ней встретиться ночью вне города, назначив место свидания возле источника. Они должны были поджидать там друг друга; Тисба пришла первой и, ожидая Пирама, увидела льва, шедшего к источнику напиться. Она от страха бросилась бежать и обронила платок с головы; лев, увидав платочек, разодрал его и выпачкал в крови. Когда на место встречи пришел Пирам и обнаружил окровавленный платок Тисбы, он решил, что его возлюбленная погибла в когтях разъяренного зверя. Отчаяние охватило его, он извлек меч и закололся. Прибежала Тисба и, найдя умирающего Пирама, закололась в отчаянии его же мечом. После их гибели вмиг почернели белые ягоды тутовника, росшего неподалеку. И потому говорит Овидий:

At tu quae ramis arbor miserabile corpus  
Nunc tegis unius, mox es tectura duorum,  
Signa tene caedis pullosque et luctibus aptos  
Semper habe fetus, gemini monumenta cruoris,

*Дидона.* — Как было сказано раньше, она была родом из Си-дона. Когда ее мужа Сихея убил ее брат Пигмалион, который хотел овладеть его казной, Дидона бежала, забрав с собой все сокровища, и оказалась в Африке, где основала город Карфаген. После разрушения Трои в Карфаген прибыл Эней. Дидона влюбилась в него, но он ее оставил, уехав в Италию, где ему предстояло заложить Рим. Дидона в отчаянии покончила с собой. Достоверность этой истории оспаривалась, как указывает Юстин.

К стр. 267. *Геро.* — Как сказано раньше, Геро была родом с острова Сеста. В нее влюбился Леандр из Абидоса и, чтобы увидеться с нею, пересекал море, плывя к острову. Но однажды ночью разразилась буря, волны поглотили Леандра и вынесли его труп на берег, к тому месту, где его обычно поджидала Геро. Она горько рыдала над телом любимого. О безрассудстве великой любви Леандра говорит Вергилий в третьей книге «Георгик».

К стр. 268. *Федра.* — Как уже сказано, она была дочерью Миноса и женой Тесея, царя Афин. Федра влюбилась в своего пасынка Ипполита, но тот не захотел уступить постыдному желанию мачехи, и Федра оклеветала Ипполита перед его отцом Тесеем. Когда несчастный юноша бежал из родного города, он был растоптан лошадьми, впряженными в его колесницу, о чем ясно сказано раньше.

*Лаодамия.* — Как было сказано раньше, эта жена Протесилая, которого она очень любила, что подтверждает Овидий в «Посланиях». Протесилай первым пал под Троей, и его смерть причинила Лаодамии страшную скорбь.

*Дейфила и Аргия.* — Как указывает Стаций в «Фиваиде», это две сестры, дочери царя Адраста, правившего греческим городом Аргосом. Как-то в несчастную ночь судьба свела в Аргосе Полиника, сына царя Эдипа, покинувшего царя Этеокла, которому в тот год надлежало править Фивами, и Тидея, сбежавшего от отца после того, как он нечаянно убил одного из своих братьев. Между Полиником и Тидеем разгорелась жестокая битва за право на место. От шума проснулся царь Адраст и пошел узнать, что побудило юношей устроить столь страшное побоище. Он спросил, кто они, те назвали себя, и царь устроил в их честь пышный прием. Заметив, что у одного на щите изображен лев, а у другого — кабан, Адраст вспомнил сон, привидевшийся ему недавно, согласно которому ему надлежало выдать свою дочь Дейфилу за льва, а Аргию — за кабана. Попяв, что тот сон был вещим, царь страшно обрадовался и предложил молодым людям в жены своих дочерей. С помощью царя Адраста Полиник и Тидей вскоре пошли на Фивы. Тидей, сын Ойнея из Калидона, погиб, совершив до этого многие подвиги, а жизнь Этеокла и Полиника оборвалась в брато-

убийственном поединке, о чем рассказывалось раньше, и потому Дейфила и Аргия долго горевали, оплакивая смерть мужей.

*Эвадна.* — Она была женой царя Капанея, одного из семи царей, что пошли на Фивы. Капаней был жесток в бою и презирал богов. Сражаясь у стен Фив, он всячески поносил Юпитера. Тот поразил его молнией, и Капаней вмиг скончался. Недруги Фив были разбиты, спасся лишь Адраст, остальные погибли. Фивами стал править Креонт, который жестокосердно запретил хоронить трупы погибших. Узнав об этом, Эвадна призвала Дейфилу, и Аргию, и всех других греческих женщин предать земле тела воинов, несмотря на запрет. Так они и сделали, заручившись помощью Тесея, правителя Афин, который убил Креонта и разорил Фивы.

*Деянира.* — Как было сказано раньше, это жена Геракла; услышав, что тот полюбил Иолу, Деянира задумала вернуть любовь мужа и отослала ему платье, пропитанное кровью кентавра Несса, павшего от руки Геракла. Перед смертью Несс, чтобы отомстить Гераклу, передал это платье Деянире и сказал, что оно обладает волшебным свойством: может изгнать из сердца Геракла всякую любовь и вернуть первую. Деянира поверила ему, но все обернулось против ее желания: платье было отравлено, и как только Геракл надел его, в тот же миг погиб в страшных муках, сгорев заживо. Стремясь сделать добро, Деянира сотворила зло, и горю ее не было предела. О смерти Геракла говорит Овидий:

Nec mora, letiferam conatur scindere vestem,  
Qua trahitur, trahit ille cutem, foedumque relatu,  
Aut haeret membris frustra temptata revelli,  
Aut laceros artus et grandia detegit ossa.